

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee,
americane e postcoloniali

Tesi di Laurea Magistrale

LE STORIE DI ANIMALI E CACCIA
NEL PERIODO ÉMIGRÉ DI A.KUPRIN.
TRADUZIONE E CONTESTI.

Relatore:
dott.ssa DANIELA RIZZI

Laureanda:
VALERIA BOLDRIN

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

Indice

Животные и охотничьи рассказы: Куприн в Париже	v
Introduzione	xi
1 Kuprin in Russia prima della partenza	1
1.1 1919-1920: un periodo decisivo	1
1.2 La posizione politica	4
2 L'emigrazione (1920-1937)	9
2.1 L'arrivo nella capitale francese	9
2.2 La Parigi di Kuprin e la grande nostalgia della patria	12
2.3 La produzione artistica durante gli anni all'estero	18
2.3.1 I racconti	20
2.3.2 <i>Yunkera</i> , romanzo autobiografico	28
2.3.3 Le collaborazioni con la stampa	31
2.4 Le corrispondenze e gli amici più cari	37
3 I racconti	51
3.1 Pesik, Nasino nero (1921)	51
3.1.1 Пёсик - Чёрный Носик	51
3.1.2 Pesik, Nasino nero	54
3.2 Yu-yu (1925)	58
3.2.1 Ю-ю	58
3.2.2 Yu-yu	68
3.3 Zavirajka - Anima di cane (1928)	79
3.3.1 Завирайка - Собачья душа	79
3.3.2 Zavirajka - Anima di cane	87
3.4 Balto (1929)	97
3.4.1 Балт	97
3.4.2 Balto	99
3.5 Una notte nel bosco (1931)	101
3.5.1 Ночь в лесу	101
3.5.2 Una notte nel bosco	108
3.6 Le beccacce (1933)	115

3.6.1	Вальдшнепы	115
3.6.2	Le beccacce	118
3.7	Ral'f (1934)	122
3.7.1	Ральф	122
3.7.2	Ral'f	125
4	Contestualizzazione e approfondimento delle storie tradotte	129
4.1	La genesi e la diffusione della favola	129
4.2	L'adattamento della favola in Kuprin	132
4.3	L'influenza delle memorie di caccia di Turgenev	135
4.4	La tradizione del racconto breve nella letteratura russa	137
	Bibliografia	143
	Sitografia	145

Животные и охотничьи рассказы: Куприн в Париже

Настоящая работа представляет собой перевод семи рассказов, написанных А. И. Куприным в Париже, куда он эмигрировал в 1920 году, и где прожил 17 лет. Эти рассказы называются *Песик-чёрный носик*, *Ю-ю*, *Завирайка*, *Бальт*, *Ночь в лесу*, *Вальдшнепы* и *Ральф*. Перевод сопровождается сведениями о жизни автора, эпохе и характеристиках текста. Материалом для исследования послужили монографии о Куприне, мемуары его дочери и других писателей, переписка с друзьями и произведения по литературе и истории России 20-ых и 30-ых годов.

Работа состоит из введения и четырех глав.

Первая глава (“Куприн в России перед отъездом”) посвящена жизни писателя во время военного коммунизма и гражданской войны в России.

Александр Иванович был в Гатчине в 1919-ом году, когда генерал Юденич ворвался с Северо-Западной армией в этот город и завоевал его: тогда Куприн начал служить в объединении Белого движения в качестве журналиста. Он писал в газете “Приневский край”, и был также её ответственным редактором.

Его жена, Елизавета Морицовна, и его дочь Ксения убежали поначалу в Ямбург, потом в Таллин и в конце в Хельсинки, куда писатель поехал в 1920-ом году. Здесь он продолжал свое сотрудничество в разных газетах, например, в “Новой русской жизни”, но это ему не нравилось. Кроме того, ситуация была опасной, поэтому после нескольких месяцев в начале июля вся семья эмигрировала в Париж.

Что касается политических событий, то Куприн никогда не имел однозначного мнения по поводу них: он не высказывался ни за, ни против коммунизма, а называл себя просто “демократом”.

Он говорил:

“Никогда ни к какой партии не принадлежал, не принадлежу, и

не буду принадлежать.”¹

С одной стороны, он не думал, что Россия была готова к большим переменам, с другой, он осмеивал тех, кто поддерживал возвращение монархии. Хотя многие критики считают его аполитичным писателем, он был, скорее, двусмысленным. Важно заметить, что политика его не интересовала, и что писатель недооценивал важность революции и её влияние на мировую историю.

Во второй главе (“Эмиграция 1920-1937”) рассматривается жизнь и литературная деятельность Куприна во время эмиграции.

Вначале говорится о приезде семьи в столицу Франции, которая была, по первым впечатлениям русского писателя, огромной, шумной и переполненной. Бунин помог им найти квартиру “на Пассях”, но она была слишком дорогой, и они вскоре переехали на дачу в Севр-Виль д’Авре: уже вначале было видно как трудно им жить на чужбине. У них были большие экономические трудности, потому что Куприн не мог написать ничего нового. Тоска по родине и русскому языку была такой сильной, что писателю не хватало идеи и концентрации.

В 1923-ом году семья вернулась в центр метрополии, но ситуация не изменилась, даже когда Елизавета открыла

“вместе с профессиональным мастером-переплетчиком и маленьким подмастерьем переплетную мастерскую.”²

На Елизавете лежали обязанности финансирования машин и сырья и даже сбор заказов. Кроме того коллеги не помогали ей, поэтому пришлось закрыть деятельность. Тогда жена писателя создала небольшую “библиотеку А. И. Куприна”, предназначенную для русских эмигрантов. Но

“Библиотека доставляла много хлопот, а доходы от нее были грошовыми, мизерными.”³

В эти годы одной из возможностей расплатиться с долгами и отдохнуть от нищеты для писателей, артистов и художников стала организация вечеров:

1. Ф. И. Кулешов, *Творческий путь Куприна 1907 – 1938*, Минск: Университетское, стр. 199

2. К. А. Куприна, *Куприн-мой отец*, Художественная литература, Москва, 1979 стр. 165

3. Ф. И. Кулешов, *Творческий путь Куприна*, стр. 207

“Обыкновенно на вечере выступал сам виновник торжества и приглашал выступить наиболее популярных артистов эмиграции”⁴

Затем анализируется творчество Куприна в Париже: самыми интересными произведениями, написанными далеко от родины, были романы *Юнкер* (1932) и *Жанета* (1934).

Юнкер – автобиографический роман о темах военной жизни и дисциплины в академиях. Такую тематику Александр Иванович уже затрагивал в *Поединке* (1905), в самой известной работе автора: ее содержание ему было дорогим потому, что было связано с его прошлым.

“Я хотел бы, - говорил Куприн, - чтобы прошлое, которое ушло навсегда, наши училища, наши юнкеры, наша жизнь, обычаи, традиции остались хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из памяти людей. ‘Юнкера’ - это моё завещание русской молодёжи”.⁵

А *Жанета* – история грустной дружбы между старым и одиноким профессором и молодой и невинной девушкой, самой Жанетой.

“Роман ‘Жанета’ - самое печальное, самое тоскливое произведение Куприна, старого, больного, захиревшего вдали от горячо любимой родины”⁶

В 1920-ом году, когда он был ещё в Хельсинки, он начался писать стихи и статьи в “Новой русской жизни” под псевдонимом Али-Хан и когда он приехал в Париж он стал журналистом в еженедельнике “Общее дело”, который был против советской власти. С 1921-ого года он работал в редакции иллюстрированного беспартийного еженедельника “Отечество” и с 1925-ого года в редакции литературного периодического издания “Иллюстрированная Россия”. Он также сотрудничал в газете “Возрождение”, где он опубликовал многие рассказы: *Сашка и яшка* (1927), *Инна* (1928), *Ночь в лесу* (1931), *Система* (1932), *Вальдинены* (1933) и т.д.

Правда, ему не нравилось работать подобным образом,

“но печататься было негде, а надо было на что-то жить”⁷

4. К. А. Куприна, *Куприн-мой отец*, стр. 163

5. А. Карасёв. *Завещание поручика Куприна*, Новый мир 2010. № 4.

6. А. А. Волков, *Творчество А. И. Куприна*”, стр. 414

7. К. А. Куприна, *Куприн-мой отец*, стр. 154

В последней части второй главы рассказывается о друзьях Куприна и о переписках с ними.

Репин был, вероятно, самым близким другом Александра Ивановича во время эмиграции. Всегда писатель посылал ему свои новые романы и рассказы: он высоко ценил мнение художника. Также Репин направил пару картин другу, как, например, “Леший”, которую Куприн загнобил на лотерею, чтобы послать дочь в санаторий в Швейцарии. Оба они сильно тосковали по родине, и об этом они часто говорили в письмах.

Любовь к России объединила Куприна со многими русскими эмигрантами, например, с Сашей Чёрным, поэтом и прозаиком, который получил широкую известность как автор лирико-сатирических стихотворных фельетонов, с Константином Бальмонтом, поэтом-символистом, одним из больших представителей русской литературы Серебряного века, и с Андреем Седых, журналистом, критиком и личным секретарем И. А. Бунина. Седых помогал Куприну до конца его жизни и часто бывал у него в гостях. Он также писал книгу о писателе.

Вспоминаю я один разговор в Париже, на похоронах писателя-эмигранта. Похороны были бедные, грустные, - пришло особенно мало людей, - и на обратном пути Александр Иванович вдруг взял меня под руку, - вид у него был очень несчастный: - Умирать нужно в России, дома, - сказал он тихо. - Так же, как лесной зверь, который уходит умирать в свою берлогу.⁸

Другие художники часто навещали писателя, когда он был здоровым и знаменитым, такие, как Теффи, Марк Алданов, Пётр Нилус, Алексей Толстой и Иван Бунин, но когда Куприн стал старым и больным, они исчезли.

В третьей главе (“Рассказы”) переводится семь рассказов Купина, написанных на чужбине:

1. *Песик - чёрный носик*; впервые опубликован в журнале «Отечество» (№ 1), в марте 1921-ого года. Потом вошёл в сборник “Храбрые беглецы. Рассказы для юных читателей” в 1928-ом году.
2. *Ю-ю* - место первой публикации не установлено. Вошёл в сборник “Новые повести и рассказы” в 1927-ом году.

8. Андрей Седых в книге А. И. Куприна, *Избранные сочинения*, ОЛМА ПРЕСС – Образование, СПб, 2003

3. *Завирайка* - впервые опубликовано в конце 1928-ого года в парижском альманахе для юношества “Русская земля”. Потом вошёл в сборник “Елань” в 1929-ого года.
4. *Бальт* - первая публикация неизвестна. Потом вошёл в сборник “Елань” в 1929-ого года. Потом вошёл в “Собрание сочинений в девяти томах. Том 7” 1964-ого года.
5. *Ночь в лесу* - первая публикация - 15 ноября 1931-ого года в газете “Возрождение” (№ 2357). Потом вошёл в сборник “Жанета” в 1934-ом году.
6. *Вальдинепы* - Первая публикация - 9 июля 1933-его году в газете “Возрождение” (№ 2959). Потом вошёл в “Собрание сочинений в шести томах. Том 6. Произведения 1899-1937” 1961-ого года.
7. *Ральф* - Первая публикация - 5 апреля 1934 -ого года в парижском журнале “Иллюстрированная жизнь” (№ 4). Потом вошёл в “Собрание сочинений в шести томах. Том Произведения 1899-1937” 1961-ого года.

В четвертой главе даётся определение жанру переведенного материала.

Песик - чёрный носик, Ю-ю, Бальт и Ральф принадлежат к жанру басни, потому что главные герои – животные.

Басня родилась в античности и была очень популярной в древнегреческой и древнеримской литературе; самыми важными авторами тогда были Эзоп и Федр. Но такая традиция продолжалась в течение веков во всех странах Европы, больше всего - во Франции, в Германии, в Италии и в России.

У рассказов Куприна не все характеристики классической басни, но, кроме типичных героев, в них используется обиходный язык, простая структура и моральный урок.

А *Завирайка, Ночь в лесу и Вальдинепы* принадлежат к жанру охотничьих записок.

Отец этого жанра в России – Тургенев с *Записками охотника* (1852). Как Тургенев, Куприн отлично описывал природу своей родины: величие деревьев, аромат цветов и растений, быстрое течение рек, цвет неба, яркость звезд, и все шумы животных... Кажется, что мы там, в лесу.

Важная характеристика этих животных и охотничьих рассказов – реализм. Значит, что у автора есть задача создать верное воспроизведение действительности. Писателя интересует объективность, а не субъективность, реальные факты, а не возможность и неопределенность.

Кроме того, эти произведения относятся к жанру короткого рассказа, который стал популярным в России в XIX веке благодаря Пушкину (*Пиковая дама*, 1834), Гоголю (*Шинель*, 1843), Тургеневу (*Уездный лекарь*, 1848), Чехову (*Ванька*, 1886) и другим писателям.

Introduzione

In questo elaborato è contenuta la traduzione italiana di sette brevi racconti di Aleksandr Ivanovič Kuprin (Narovčat, 1870-Leningrado, 1938) composti a Parigi, dove l'autore emigrò nel 1920 e rimase fino al 1937. Inoltre è stata condotta un'analisi del periodo che lo scrittore trascorse in Francia, con particolare attenzione alle attività che svolse durante la sua vita all'estero, come le collaborazioni con le riviste russe e francesi, le amicizie, le corrispondenze. Alla fine, si trova una breve trattazione dedicata alla tradizione della favola e della caccia nella letteratura, temi con i quali sono collegati i racconti tradotti. Gli anni d'oro di Kuprin tuttavia non corrispondono a quelli passati lontano dalla patria, ma, al contrario, a quelli vissuti proprio in Russia, dove già prima della fine del XIX secolo era conosciuto e amato dai lettori. Fu il romanzo breve *Moloch* nel 1896 a diventare la sua prima opera di successo, e la fama si consolidò ulteriormente grazie a *Il duello* (1905) e *La fossa* (1910).

Aleksandr Ivanovič amava il popolo e le sue tradizioni, le persone semplici e vere, e queste divennero protagoniste delle suoi romanzi di successo (oltre che della grande maggioranza dei suoi racconti): un operaio sfruttato dalla sua fabbrica e abbandonato dalla moglie, in *Moloch*, giovani soldati maltrattati dai loro superiori, oppressi dalla rigida educazione imposta nelle accademie, in *Il Duello*, e ragazze costrette a prostituirsi in cambio di un tetto e di una razione di cibo, vittime della violenza dei clienti, che spesso si recavano nelle case chiuse già ubriachi, in *La fossa*.

Fin da subito fu chiaro che Kuprin era diverso dai suoi contemporanei, così come dai grandi nomi della letteratura che lo avevano preceduto. Scrive Serge Persky:

“The work of Kuprin contrasts strongly with the writings of his predecessors and of his contemporaries. It would be useless to try to connect him with Dostoyevsky, Tolstoy, or Gorky. This does not mean that he came under foreign influence. As a matter of fact his work clearly shows the imprint of Slavic genius and receives its richness from qualities which have always appeared in Slavic literature,—sincerity and accuracy of observation, a passionate love for all manifestations of modern life, lyrical fullness, and power of suggestion. But Alexander Kuprin does not depict adepts of the "religion of pity," nor the psychology of the abnormal, the "pathological case," so curious and rare, and so dear to the author of

"Crime and Punishment." He does not reincarnate the sad genius of Kolokolnikov. He is equally separated from Tolstoy and Gorky. He is himself. That is to say, he is an exquisite story-teller, profound and touching, who imposes neither thesis nor moral upon his reader, but paints life as it appears to him, -not seen through the medium of a temperament,-but in all sincerity, without too much ardor or too much indifference."⁹

Purtroppo, lontano dalla sua terra, Kuprin perse il suo ardore e scrivere divenne per lui difficile. Nicholas J.L. Luker pubblicando una monografia su Aleksandr Ivanovič nel 1978 decise di intitolare l'ultimo capitolo dell'opera, incentrato proprio sull'immigrazione, "The twilight years", al fine di indicare il decadimento artistico dello scrittore durante questa fase della sua vita:

"Even during his brief stay of 1919-1920 in Finland, Kuprin sensed that the life of an émigré was not for him. The next seventeen years in Paris not only witnessed the decline of his creativity, but eventually broke his spirit. Grieved at his separation from Russia and never truly at home among his fellow émigrés, he became lonely and withdrawn."¹⁰

Non riusciva a pubblicare nuove opere e ad eccezione di *Gli Junkers* (1932) e *Žaneta* (1933) non compose niente di notevole. Non rinunciò però alla stesura di brevi racconti, che comparirono prima nelle riviste con cui collaborava e poi in alcune raccolte che uscirono a Parigi.

Ancora una volta gli eroi erano persone con una vita comune, e Kuprin analizzò diversi "tipi umani": pugili, musicisti, acrobati, professori, e così via. Ma c'erano dei protagonisti ancora più adatti per i suoi racconti, perché più puri e non intaccati dalla corruzione umana: gli animali.

Aleksandr scrisse decine di favole dove mise al centro della narrazione cani, gatti, elefanti, uccelli, lepri, ma anche boschi e foreste, battute di caccia, cieli stellati e fiori: la natura divenne così uno dei temi a lui più cari durante gli anni passati a Parigi. Scrive F. Ledré:

"Kouprine éprouve une sympathie toute spéciale pour les animaux. Il y a du François d'Assise dans cet Russe vagabond. Quelle ménagerie (quelle ménagerie domestiquée!) que certains de ses recueils! [...] Les animaux de Kouprine ne sont pas de purs automates [...]. Ils ont une âme, vraiment... âme plus fruste, plus rudimentaire que celle des

9. Serge Persky, *Contemporary Russian Novelists*, Frank Palmer Red Lion Court, Londra, 1914, pp. 274

10. Nicholas J.L. Luker, *Alexandr Kuprin*, G. K. Hall & Co., Boston, 1978, pp. 147

hommes, mais si fine malgré tout, si sensible et parfois si déliée.
 [...] Kouprine a connu et approché de nombreux groupes sociaux.
 Pêcheurs, paysans, prostituées, traîtres, mendiants, avoués, acteurs de
 théâtre et de cirque, journalistes, musiciens, que sais-je encore?”¹¹

Spesso questi racconti entravano in collezioni di storie per l’infanzia e mentre li scriveva, Kuprin si immaginava che sarebbero stati letti dai genitori ai figli, o che sarebbero diventati i primi libri di lettura di molti bambini. Il loro livello artistico tuttavia non era troppo elevato, o se non altro risultava inferiore rispetto a quello dei romanzi che lo avevano fatto conoscere al grande pubblico; il messaggio che contenevano era molto più semplice e diretto, il linguaggio colloquiale e la trama lineare.

La secondarietà della “produzione parigina” ha reso difficile fin da subito raccogliere informazioni riguardanti molte opere composte dall’autore tra il 1920 e il 1937. Ho dunque compiuto approfondite ricerche bibliografiche nella biblioteca universitaria di Cambridge, dove ho reperito materiale utile all’inquadramento biografico e storico letterario delle opere che ho preso in esame, relative ad un periodo considerato “minore” della vicenda letteraria di Kuprin.

Se per *Il Duello* e *La Fossa* sono stati spesi fiumi di parole, grazie all’accoglienza favorevole che ebbero presso il pubblico dei lettori russi immediatamente dopo la loro pubblicazione, per i racconti da me tradotti non si può certo dire lo stesso. Anzi, andando ad analizzare nel dettaglio il periodo vissuto in Francia dallo scrittore, ho potuto constatare quanto fosse stato difficile per lui non solo abbandonare la propria terra, ma anche quanto fosse penoso cercare di sopravvivere lontano dalla Russia:

“Living in Russian Emigration is like living in a crowded room where a dozen bad eggs have been smashed [...] we’ve tasted to excess all the vileness of gossip, bickering, pretense, intrigue, suspicion, stupidity, and boredom”¹²

Le condizioni degli scrittori che emigravano, e in generale quelle di tutti gli artisti che abbandonarono l’URSS, erano a dir poco difficili: venivano discriminati, reclusi in determinate zone delle città, lasciati spesso senza lavoro, e in generale poi non si mescolavano quasi mai con la popolazione dello stato che

11. François Ledré, *Trois romanciers russes*, Nouvelles éditions latines, Paris, 1935, pp. 96-97

12. Dalle lettere inviate a Ivan Zaikin, primavera 1924, raccolte da Fedor Kulešov in *A.I. Kuprin o literature*, Izd-vo BGU, 1993, citato da Nicholas J.L. Luker, in *Alexandr Kuprin*, pp. 147

li ospitava. Kuprin non rappresentò dunque un'eccezione, e questa sua produzione minore ci aiuta ad avere una visione completa della sua personalità artistica, nonostante dal punto di vista letterario sia meno pregevole rispetto ad altri suoi romanzi maggiori.

Non si può non riconoscere tuttavia il fascino dell'ambientazione realistica in cui vengono collocate le vicende descritte in tali opere: l'attenzione ai dettagli, la minuzia descrittiva, e la sensazione di poter percepire gli odori e scorgere i paesaggi naturali che vengono dipinti a parole sono tra le caratteristiche più belle di queste short-stories. Esse vengono così racchiuse nella tradizione del racconto breve e in quella del realismo, ma c'è posto per loro anche nella categoria del genere della favola e in quella delle storie di caccia.

Kuprin dunque, nonostante sia vissuto in un arco di tempo artisticamente complicato ed oscurato dall'ingombrante retaggio del grande romanzo russo della seconda metà dell'800, e sebbene stesse attraversando negli anni presi in esame un periodo particolarmente negativo della sua vita, è riuscito a stupirci comunque, e a riconfermarsi un grande autore della letteratura russa.

Nella sua convinzione che l'arte fosse indiscutibilmente fusa con la realtà, è così diventato testimone della sua generazione, in maniera del tutto originale. Concludiamo quindi questa introduzione con le parole di un critico che ci sembra aver colto con particolare acutezza lo spirito della produzione kupriniana:

“Kuprin's position in the history of Russian literature is highly significant, if not unique. Born into an age overshadowed by the great Russian novel, which had reached its zenith in the 1860s, he turned to the short story as the genre suited both to his own restless temperament and to the manifold preoccupations of his generation. [...] With his contemporaries Chekhov, Gorky, and Bunin, he brought the genre of the short story to an efflorescence without parallel in Russian letters. [...] Kuprin was a writer of lived experience par excellence, and it is his constant focus on the details of actuality that lends his work its convincing power. His lifelong conviction that art should be fused indissolubly with reality explains the irritation and even hostility he felt toward contemporaries who ignored or denied that fusion. His strong dislike of the Symbolists and Decadents around the turn of the century illustrates the point”.¹³

13. Nicholas J.L. Luker, *Alexandr Kuprin*, pp. 154

Capitolo 1

Kuprin in Russia prima della partenza

1.1 1919-1920: un periodo decisivo

Furono probabilmente gli avvenimenti del 1919 a convincere Kuprin ad emigrare. Il 17 ottobre di quell'anno, infatti, l'Armata Bianca guidata da Nikolaj Nikolaevič Judenič fece irruzione nella città di Gatčina, dove lo scrittore dal 1911 abitava assieme alla moglie Elizaveta Morizovna Gejnrich e alla figlia Ksenia.

Judenič, che fu uno dei principali leader della fazione menscevica durante la Guerra Civile (1918-1921), aveva assunto la guida dell'Armata Bianca del Nord Ovest (zona delle Repubbliche Baltiche) nel luglio del '19, e pochi mesi dopo lanciò una potente offensiva contro Pietrogrado, occupata dai Bolscevichi. Fece ciò senza il supporto degli alleati: Kaarlo Juho Ståhlberg, presidente della Finlandia dal 1919 al 1925 aveva promesso l'aiuto del suo esercito in cambio dell'indipendenza, ma dal momento che l'Armata Bianca non si dimostrò disposta ad effettuare lo "scambio", la Finlandia non partecipò alla conquista di Pietrogrado e dei suoi territori periferici, dove appunto si trovava Gatčina.

Il successo di Judenič dipese molto dalla scarsa capacità di difesa di cui disponeva l'Armata Rossa, che era contemporaneamente occupata su diversi fronti, *in primis* quello di Siberia, dove Aleksandr Vasil'evič Kolčak comandava l'esercito anti-rivoluzionario. Quando tuttavia Lev Trockij decise di prendere in mano la situazione e organizzare personalmente la difesa di Pietrogrado, gli avvenimenti cambiarono rotta, tanto che, a sole due settimane dall'insediamento, Judenič e i Menscevichi furono costretti a ritirarsi, e i Bolscevichi ripresero nuovamente controllo del territorio.

La reazione di Kuprin di fronte all'assedio di Gatčina fu piuttosto contraddittoria: egli avanzò subito una protesta accanita nei confronti della violenza usata contro gli abitanti, ed in particolare contro gli ebrei, e scrisse una recensione al

libro di M.S. Margulies intitolato *God intervencii* (1923), nella quale espresse tutta la sua incredulità nei confronti della ferocia dell'esercito di Judenič. Contemporaneamente però venne arruolato nelle schiere mensceviche, e si ritrovò a collaborare con la nuova rivista ufficiale del fronte bianco, *Prinevskij kraj*, svolgendo il ruolo di caporedattore. D'altronde, era da diverso tempo che cercava di avere un giornale tutto suo, e questa poteva essere l'occasione giusta per essere lanciato nel mondo in cui desiderava farsi strada. Tuttavia fu subito chiaro che Kuprin non era interessato a collaborare con *Prinevskij kraj*: il suo lavoro era impreciso, frettoloso e portato a termine di malavoglia. Scrisse F. I. Kulešov:

“По всему видно, что газета велась редактором незаинтересованно, небрежно. [...] Газета была малограмотный не только в политическом отношении, но и в прямом значении этого слова. Чувствовалась разбросанность мыслей редактора, душевная его смятенность.”¹

In generale questa esperienza gettò un fascio di luce negativo sul futuro di Aleksandr Ivanovič, suscitando delusione tra i suoi sostenitori. Il suo disinteresse nei confronti della politica risultò poco conveniente anche in seguito, durante il soggiorno in Francia, dove la sua quasi totale assenza nel panorama degli avvenimenti di interesse comune comportò una severa esclusione del favore del pubblico.

La collaborazione con l'Armata Bianca durò comunque assai poco, finendo due settimane dopo: dal 3 novembre Judenič e il suo esercito lasciarono Pietrogrado e i territori limitrofi, cedendo nuovamente il posto ai Bolscevichi. Fu allora che Kuprin raggiunse a Jamburg² la famiglia, che vi si era trasferita durante l'assedio di Gatčina. Fu doloroso per Aleksandr Ivanovič lasciare la sua abitazione immersa nel verde, dove poteva occuparsi dell'orto ricco di verdure, del giardino decorato di alberi e fiori, dove si attorniava di animali, e fu molto difficile abbandonare i boschi dove andava a caccia, attività che amava moltissimo. Non gli dispiacque lasciare dietro di sé oggetti e suppellettili, non era una persona attaccata ai beni materiali, ma non rinunciò a mettere in valigia fotografie e libri dei più grandi scrittori russi:

1. F. I. Kulešov, *Tvorčeskij put' Kuprina*, pp. 198. “Era palese che il redattore amministrava il giornale in maniera disinteressata, e approssimativa. [...] Il giornale era incosciente non soltanto nei confronti delle tendenze politiche, ma anche nei confronti della politica in sé. Si percepiva la dispersione dei pensieri del redattore, la sua confusione interiore”.

2. Oggi la città è nota con il nome di Kingissepp, datogli nel 1922 in onore dell'omonimo personaggio politico, capo del Partito Comunista Estone.

“Единственное, что все же захватил с собою Куприн, это - небольшой чемоданчик, в которой были вложены фотографии Толстого и Чехова, томик Пушкина и ещё кое-что.”³

Il soggiorno a Jamburg fu molto breve, e alla fine di novembre i Kuprin si spostarono a Revel⁴, da dove sarebbe stato facile raggiungere la Finlandia. La loro tappa successiva infatti fu Helsinki, città in cui la famiglia si fermò per qualche mese prima di compiere il passo definitivo verso Parigi.

Fu questo un periodo terribile per Kuprin, in primo luogo perché sentiva moltissimo la mancanza della sua terra. Dalla corrispondenza con l'amico I. Repin si coglie perfettamente il suo stato d'animo; ecco cosa gli scrisse nel gennaio del 1920:

“Никогда ещё, бывая за границей, я не чувствовал такого голода по родине. Каждый кусок финского smörgås'a⁵ становится у меня поперек горла”⁶

Ciò di cui percepiva pesantemente l'assenza era di sicuro la lingua russa: girare per le strade e sentir parlare finlandese, (e successivamente francese), era probabilmente una delle cose che gli pesavano di più. Scrisse:

“Я изнемогаю без русского языка! [...] Вот когда я понял ту загадка, почему и Толстой, и Пушкин, и Достоевский, и Тургенев... так хорошо признавали в себе эту тягу к языку народа и к его непостижимой [...] мудрости”⁷

Era palese che il suo cuore fosse rimasto ancorato nella terra natia, dove intanto si susseguivano avvenimenti che egli giudicava negativamente. Non apprezzava

3. F. I. Kulešov, *Tvorčeskij put' Kuprina*, pp. 202: “L'unica cosa che Kuprin portò via con sé fu una piccola valigia, nella quale c'erano delle fotografie di Tolstoj e Čechov, un tomo delle opere di Puškin e qualcos'altro ancora”.

4. Revel' è l'antico nome dell'attuale città di Tallin, capitale dell'Estonia

5. Tipico piatto della cucina finlandese. Consiste in una fetta di pane accompagnata da ingredienti diversi: molto spesso vengono usati il salmone, il caviale e le uova.

6. *Almanacco di Leningrado (Leningradskij al'manach)*, 1958, lettera n. 14: “Mai prima d'ora, trovandomi all'estero, ho provato una tale nostalgia per la patria. Ogni boccone di smörgås mi va di traverso in gola”.

7. Fiodar Ivanovič Kulešov, *Tvorčeskij put' Kuprina*, pp.203: “Io soffro senza il russo! [...] Solo ora capisco perché Tolstoj, Puškin, Dostoevskij, Turgenev... davano così tanta importanza alla lingua del popolo e alla sua incredibile saggezza”.

l'attività dei bolscevichi, e non mancò di esprimere il suo sfavore nei confronti del comunismo di guerra in *Novaja russkaja žizn'*, nella cui redazione ricopriva per lo più il ruolo di compositore di *feuilletons*, ossia di racconti, o romanzi brevi, pubblicati a puntate.

Scrivendo quasi sempre utilizzando lo pseudonimo di "Ali-Chan", tornatogli utile anche per firmare le poesie che diede alla luce nella stessa *Novaja russkaja žizn'*. Nei suoi versi però non c'era traccia di critica politica: si leggevano per lo più la tristezza, il dolore, l'amarezza e l'oppressione di una realtà che non lo soddisfaceva affatto. D'altronde, a rendergli l'esistenza difficile, ci pensavano anche le ristrettezze economiche, con le quali i Kuprin dovettero fare i conti per tutta la loro vita. Non essendo molto conosciuto in Francia, Aleksandr Ivanovič faceva fatica a vendere con successo le sue produzioni artistiche, e in generale, come vedremo in seguito, tutto il periodo dell'emigrazione fu caratterizzato da un'attività letteraria piuttosto scarsa. Fu sempre costretto a scrivere articoli e racconti su commissione di direttori di giornale, e questo lo rendeva un uomo triste e frustrato. Intanto cresceva in lui la consapevolezza della necessità di un nuovo imminente spostamento, poiché il permesso di residenza in Finlandia sarebbe scaduto il 1° giugno. A febbraio comunicò all'amico Repin la sua idea di emigrare in America, anche se poi indirizzò la scelta verso tre città europee: Berlino, Parigi e Praga. In realtà, come ci conferma Kulešov, per lui un posto valeva l'altro:

“Куприн не обольщал себя сладкими иллюзиями относительно своего будущего: он предчувствовал, что везде, кроме России, ему будет неуютно и голодно, и тоска будет повсюду”.⁸

I primi di luglio del 1920 Kuprin e la sua famiglia lasciarono la Finlandia, e il giorno 4 dello stesso mese giunsero nella bella capitale francese.

1.2 La posizione politica

Un grande errore di Kuprin fu quello di non essere riuscito a comprendere appieno la portata storica di un avvenimento così importante come la Rivoluzione d'Ottobre. Non si rese pienamente conto delle conseguenze della vittoria dei bolscevichi; per lui i fatti accaduti erano movimenti spontanei, e così pensando

8. F. I. Kulešov, *Tvorčeskij put' Kuprina*, pp. 206: “Kuprin non si faceva dolci illusioni riguardanti il suo futuro: aveva il presentimento che ovunque, eccetto che in Russia, non si sarebbe trovato a proprio agio, e la nostalgia lo avrebbe perseguitato in ogni luogo”.

tolse loro il peso e l'importanza che tuttora esercitano sul corso della Storia a livello mondiale.

La sua posizione politica era di fatto caratterizzata dall'ambiguità. Collaborava con riviste "borghesi", tra le quali ricordiamo *Vol'nost'*, *Petrogradskij listok*, *Petrogradskoe echo*, *Petrogradskij golos*, *Večernee slovo*, *Utrennee slovo*, *Era*; tuttavia la sua idea riguardo ai bolscevichi era molto positiva (anche se una volta emigrato in Finlandia affermò di non comprendere appieno il loro rapporto con il popolo: gli sembrava che non facessero gli interessi dei cittadini). Li definì uomini di "cristallina purezza", in grado di donare all'Unione Sovietica "fervente energia", sotto la guida del loro condottiero Lenin⁹. Quando il 20 giugno 1918 venne ucciso Vladimir Volodarskij, Kuprin scrisse un elogio alla figura del rivoluzionario marxista che piacque così tanto ai bolscevichi da essere pubblicato in molte loro riviste, accompagnato dal sottotitolo: "Intellettuali, leggete!" Il problema era che Aleksandr Ivanovič non si spingeva molto in là nello studio dell'ideologia socialista: egli, restando molto in superficie, giudicava i personaggi politici senza analizzare davvero il loro spessore. Non riusciva a distinguere la psicologia del borghese democratico da quella del rivoluzionario, che guidava il popolo alla lotta di classe.

Egli comunque stimava profondamente Lenin e nel 1918 ebbe la possibilità di incontrarlo di persona. Già prima di sapere che un giorno l'avrebbe incontrato, si era espresso così:

“Я считаю Ленина безусловно честным и смелым человеком”¹⁰

Per Kuprin lo scopo principale del colloquio era esprimere il desiderio di iniziare a pubblicare un giornale tutto suo, *Zemlja*, rivolto per lo più alla classe contadina. Di questo progetto aveva già parlato a Gor'kij, che aveva apprezzato l'idea e sostenuto Aleksandr Ivanovič.

Lenin diede il suo nullaosta, ma la pubblicazione di *Zemlja* a Mosca non cominciò mai: da quanto riportò Gor'kij, ci furono degli ostacoli di tipo tecnico. Con Aleksej Maksimovič intanto Kuprin collaborava alla realizzazione dell'opera *Vsemirnaja literatura*, per la quale stava scrivendo una prefazione sulla figura del famoso romanziere francese Alexandre Dumas.

Sempre tramite Gor'kij ricevette anche l'ultimo incarico precedente la partenza per l'estero, ossia la traduzione della tragedia di Shiller, *Don Carlos*.

9. “люди кристальной чистоты [...], возглавляемые Лениным, проявили через Советы пламенную энергию” si legge nell'opera di E. M. Rotšnejn, A. I. Kuprin. *Zabytye i nesobrannye proizvedenija*, 1950

10. Rivista *Era*, 6 luglio 1918, n.1 : “Ritengo Lenin una persona leale e valorosa”

La costante indeterminatezza di Kuprin sul piano politico continuò anche quando lasciò la Russia. La collaborazione con le due riviste bianche, *Prinevskij kraj* a Gatčina, e *Novaja russkaja žizn'* ad Helsinki, confuse le idee di tutti i lettori. A riprova del suo punto di vista anti-socialista arrivò anche la critica nei confronti dello scrittore inglese H.G. Wells, il quale si era espresso in maniera molto aspra verso gli emigrati russi, affermando che meritavano nient'altro che disprezzo. Wells li definì incapaci di esprimere una valida opinione politica e bravi solo a ripetere le solite storielle riguardo alle atrocità dei bolscevichi. Queste pungenti osservazioni suscitarono l'indignazione di molti intellettuali russi, tra cui Merežkovskij, Bunin e lo stesso Kuprin, che scrisse una critica così severa nei confronti di Wells da coinvolgere nel giudizio negativo anche la sua intera opera letteraria, che definì "pura scemenza"¹¹.

A sostegno di questa antipatia nei confronti dei "rossi", per il quarto anniversario dalla Rivoluzione, arrivò l'articolo in *Obščee delo* intitolato *Russkij dokument*, in cui Kuprin ripercorreva le atrocità compiute dalla VČK¹², di cui Wells aveva parlato con ironia e leggerezza. Nella stessa rivista pochi mesi prima Kuprin aveva anche pubblicato il pamphlet *Publičnyj torg*, in cui accusava i socialisti di aver soffocato la Russia, e di averla "legata" come si fa con uno schiavo in catene. Egli dunque rientrava nella schiera dei "beloemigranty", cioè di coloro che, lasciata la patria, non ne approvavano la nuova direzione socio-politica.

Contemporaneamente, alcuni sostenitori della monarchia, come Merežkovskij e Gippius, cercarono di attrarre Kuprin dalla loro parte, e gli effetti di questa influenza si videro ad esempio nella pubblicazione di diversi scritti a cura di Aleksandr Ivanovič riguardo la corrispondenza tra lo zar Nicola II e Aleksandra Fedorovna. Tra questi ricordiamo l'articolo *Dnevniki i pis'ma* che uscì in *Russkaja Gazeta*, e l'articolo *Stena*.

Tuttavia sarebbe sbagliato ritenere Kuprin un monarchico, egli era semplicemente apolitico:

“Я не монархист. [...] Никогда ни к какой партии не принадлежал, не принадлежу, и не буду принадлежать.”¹³

11. “сущий вздор” si legge in A. I. Kuprin, *Dva puteštvennika*, 1920

12. Pronunciato “Večeka”, e diffuso con la nota abbreviazione “Čeka”; era il corpo di polizia sovietica creato nel 1917 da Lenin, antenata del ben più celebre KGB

13. RGALI, f. 240, op. 3, ed. chr. 12 : “Non sono un monarchico. [...] Non sono mai appartenuto ad un partito, non appartengo a nessuno partito ora e mai lo farò.” citato in F. I. Kulešov, *Tvorčeskij put' Kuprina*, pp. 199

Da un lato temeva che la Russia non fosse pronta al cambiamento epocale che il nuovo regime rappresentava, e dall'altro guardava con compassione coloro che speravano di poter richiamare lo zar alla guida del Paese e restaurare l'Impero. Si era reso conto del grande sconvolgimento causato dalla Rivoluzione, ma lo vedeva più come una calamità naturale che aveva avuto la capacità di ripulire e purificare l'atmosfera che si respirava prima del suo avvento.

Anche i progetti politici dei menscevichi, che pretendevano di sottrarre con la violenza le terre di cui i contadini si erano impossessati, non parevano a Kuprin degni di maggior considerazione; e non meno assurdi gli apparivano i pensieri filosofici degli intellettuali che cercavano di trovare una soluzione tramite i loro studi teorici.

La verità è che voleva occupare una posizione intermedia, e dare una visione completamente personale sulla modalità di rinnovo della situazione in Russia. Aveva in mente un programma utopico, secondo cui ci sarebbe stata una direzione democratica del potere, in cui tutti i cittadini erano uguali davanti alla legge, e dove un saggio governatore si sarebbe preoccupato di rendere la Russia un paese florido, all'interno del quale ogni abitante sarebbe stato non solo ricco, ma anche felice. Si immaginava una pacifica collaborazione tra operai e capitalisti e, in un vero e proprio impeto utopico, arrivò a figurarsi la creazione di un'unione tra il suo Paese, la Francia e l'America, che sarebbero state in grado di liberare il mondo dalle guerre.

È chiaro come non fosse assolutamente un grande esperto di affari politici, ma ciò che in parte lo giustifica è sicuramente il fatto che egli stesso era pronto a riconoscerlo. Dichiarò infatti:

“Я только мечтатель. Сказочник.”¹⁴

Una volta giunto a Parigi non cambiò atteggiamento: non partecipò mai ai congressi e agli incontri che venivano organizzati dagli intellettuali russi che come lui avevano deciso di lasciare la patria per raggiungere la capitale francese, e svolgere con serenità la loro attività artistica.

Questa eterna indecisione e questa costante ambiguità negli affari politici non misero ovviamente la sua figura artistica sotto una luce positiva agli occhi della comunità degli emigrati, e in generale la sua marginalità sfociò anche in campo letterario: restò sempre un artista piuttosto secondario nel panorama culturale parigino. Preferì molte volte riproporre vecchi racconti e vecchi romanzi che aveva scritto nella sua terra natia: la lontananza di quest'ultima lo rendeva

14. A. I. Kuprin, *Skazočnij princ*: “Sono soltanto un sognatore. Un narratore di fiabe” F. I. Kulešov, *Tvorčeskij put' Kuprina*, pp. 199

spesso e volentieri un autore malinconico, che amava di più guardarsi alle spalle e ricordare il passato piuttosto che fare uno sforzo per ambientarsi nella sua nuova dimora, situata nel cuore dell'Europa.

Capitolo 2

L'emigrazione (1920-1937)

2.1 L'arrivo nella capitale francese

Il 4 luglio 1920 la famiglia Kuprin giunse a Parigi, e venne subito accompagnata all'albergo "Hotel de Russie", che fu la loro residenza per la prima settimana nella grande metropoli.

Una volta appoggiate le valigie, decisero tutti e tre assieme, Aleksandr Ivanovič, la moglie Elizaveta Moricovna e la figlia dodicenne Ksenia di fare un primo giro a piedi per il centro della città. Scelsero come destinazione i boulevard più conosciuti, in modo da immergersi completamente nella nuova realtà. Furono subito colpiti dalla grande vivacità in cui si imbattono:

“Нас ошеломило необычайное количество людей, празднично гуляющих, сидящих за расставленными столиками прямо на тротуарах, яркие светлые рекламы, витрины...”¹

Essendo affamati, decisero di andare a mangiare qualcosa, ed entrarono in uno dei tanti ristoranti che popolavano i viali. Solo Aleksandr Ivanovič conosceva un po' di francese, e così decise di mettere alla prova la sua abilità nella lingua straniera con il cameriere. Poiché quest'ultimo non riusciva a capire bene ciò che gli veniva detto, si spazientì a tal punto da strappare via la loro tovaglia, e da cacciarli fuori del locale, insultandoli:

“Грязные иностранцы, убирайтесь к себе домой!”²

Pieni di vergogna uscirono dal ristorante, e, avendo perduto l'appetito, continuarono a vagare per la città, dirigendosi “dove gli occhi li conducevano”.

1. K. A. Kuprina, *Kuprin– moj otec*, cap. 15, pp. 116: “Ci colpì l'incredibile numero di persone che camminavano pigramente, che sedevano ai tavolini separati l'uno dall'altro e che davano direttamente sulla sui viali, le insegne luminose, le vetrine...”

2. *Ibidem*, pp. 116: “Sporchi stranieri, tornate a casa vostra!”

Andarono quindi ad assistere ad uno spettacolo presso il “Théâtre des Capucines”, ma anche qui non andò loro troppo bene: durante il primo intervallo si unirono ad un gruppo di russi che discutevano animatamente nell’atrio, i quali però ebbero da ridire sulla presenza di Ksenia, dal momento che ritenevano la performance in corso equivoca e per questo non adatta ad una ragazzina della sua età.

“В антракте мы вышли в фойе; там стояла группа русских. Увидев мои косички, они стали громко возмущаться тем, что на такую двусмысленную программу привел ребенка. Конечно, мои родители невероятно смутились, и мы быстро ушли.”³

L’indomani una grande folla venne a far visita a Kuprin presso l’ “Hotel de Russie”, e per tutto il giorno ci fu un viavai continuo. Erano cittadini russi emigrati in Francia, e si trattava per lo più di intellettuali scappati dalla difficile situazione della loro patria. I discorsi vertevano sul tema politico, e molto spesso si ragionava assieme su quello che sarebbe stato il futuro della Russia. Kuprin però non si sbilanciava molto durante queste discussioni, poiché, come abbiamo già avuto modo di spiegare, era un semplice democratico, e in generale non riusciva a schierarsi con decisione all’intero di un partito.

Dopo il breve soggiorno in albergo, grazie all’aiuto di Bunin, i Kuprin si trasferirono in un comodo appartamento nel quartiere parigino di Passy, che, per un motivo non ben precisato, era particolarmente conosciuto e amato dagli emigrati russi. La nuova abitazione aveva quattro stanze, ed era già perfettamente ammobiliata: purtroppo non fu possibile per Aleksandr Ivanovič e la sua famiglia viverci durante tutto il periodo trascorso in Francia, poiché l’affitto era troppo alto. Anche qui comunque Kuprin riceveva visite quotidianamente:

“Двери купринской квартиры ‘на Пассях’ всегда были распахнуты настежь: как и в Петербурге и в Гатчине, бесконечные гости осаждали писателя. Тут были литераторы и журналисты, театральная богема, цирковые артисты, бывшие офицеры и просто любопытствующие поглазеть на Куприна”⁴

3. *Ibidem*, pp.117: “Durante la pausa uscimmo nell’atrio; lì c’era un gruppo di russi. Avendo visto le mie trecce, cominciarono a lamentarsi a voce alta del fatto che i bambini non erano ammessi ad uno spettacolo così ambiguo. Ovviamente i miei genitori andarono incredibilmente in confusione, e ce ne andammo via in fretta.”

4. Oleg Michailov, *Kuprin*, cap. 7, pp. 227: “Le porte dell’appartamento di Kuprin a Passy erano sempre spalancate: così come a Pietroburgo e a Gatčina un numero infinito di ospiti assediava lo scrittore. C’erano letterati e giornalisti, attori di teatro, artisti del circo, ex-ufficiali e semplici persone curiose di vedere Kuprin”

La settimana che seguì il loro arrivo fu carica di festeggiamenti, dal momento che il 14 luglio è il giorno in cui si celebra la “Presca della Bastiglia”: la gente si riversava nelle strade per danzare, mangiare, bere, e stare in compagnia. Quell’anno si fece festa per due giorni e due notti consecutive: la gente voleva lasciarsi alle spalle e dimenticare gli orrori della Prima Guerra Mondiale, che era da poco terminata. Kuprin assistette due volte a questa ricorrenza: nel 1912 si trovava a Marsiglia, e in *Lazurnye berega* (1912) scrisse:

“Середина июля. Город Марсель празднует годовщину разрушения Бастилии... Но мне тяжело и скучно. Чужой праздник! И я чувствую себя неприглашенным гостем на чужом пиру.”⁵

Otto anni più tardi, assieme alla sua famiglia, Aleksandr Ivanovič si sentiva ugualmente un pesce fuor d’acqua di fronte al clima festoso che caratterizzava il 14 luglio, e il senso di smarrimento che provava trovandosi lontano dalla Russia lo accompagnò fino a che non fece ritorno in patria.

Ksenia intanto lasciò Parigi, per frequentare l’istituto cattolico di educazione femminile “Les Dames de la Providence”, dove seguiva lezioni di catechismo, di cucito, di canto, e dove si celebravano ben quattro messe al giorno. L’istituto imprimeva un’educazione molto severa, e lasciava pochissima libertà alle ragazze che lo frequentavano.

Anche Ksenia, come il padre, non era soddisfatta della sua sistemazione, e fu particolarmente infelice durante il periodo di vacanza trascorso con l’insegnante Maria Teresa a Domrémy, la città natale di Giovanna d’Arco. Oltre a non trovarsi bene con le poche compagne di scuola lì presenti, non sopportava sentir parlare in francese, poiché ancora non riusciva a capirlo.

Si ribellò e cercò di fuggire, e questo le costò una severa punizione. In questo periodo la corrispondenza con i genitori era fittissima: essi cercavano di convincerla ad essere ubbidiente, e le promisero di andarla a trovare. Scrive Elizaveta il 4 agosto:

“Кажется, мы с папой недели на две приедем в Домреми подышать свежим воздухом, но еще твердо не решили. Нежно мы с папой тебя вспоминаем, он скучает очень.”⁶

5. K. A. Kuprina, *Kuprin– moj otec*, cap. 15, pp. 118: “È metà luglio. Marsiglia festeggia l’anniversario della Presca della Bastiglia... Ma per me tutto ciò è pesante e noioso. Non la sento come una ricorrenza da celebrare! Ho la sensazione di essere un ospite non gradito ad una festa altrui”

6. *Ibidem*, pp. 120: “È probabile che io e papà tra due settimane veniamo a Domrémy per respirare un po’ d’aria fresca, ma non siamo ancora sicuri”.

E aggiunge Aleksandr Ivanovič in chiusura di lettera:

“Случай своих добрых наставниц.”⁷

Nonostante la ristrettezza economica i coniugi Kuprin mantennero la parola data e fecero visita a loro figlia. Ksenia alla vista del padre si rattristò, poiché le apparve molto invecchiato, nonostante fosse passato poco tempo dall'ultima volta che si erano salutati:

“Очень похудевший отец уже не напоминал татарского хана и к пятидесяти годам выглядел типичным русским интеллигентом. В его густых, коротко остриженных [...] волосах было мало седицы [...]”⁸

Elizaveta Moricovna invece era triste e cupa: ciò che la opprimeva di più era l'assenza di denaro, e fu proprio per questo che i coniugi dovettero ripartire da Domrémy in anticipo: temevano di non riuscire a pagare il viaggio di ritorno a Parigi.

In generale, durante tutto il periodo dell'emigrazione, i Kuprin si trovano costretti a fronteggiare diversi momenti di crisi. Aleksandr Ivanovič non riusciva ad avere successo con le sue opere, e gli toccò spesso svolgere lavori con il solo fine di avere uno stipendio assicurato a fine mese.

2.2 La Parigi di Kuprin e la grande nostalgia della patria

L'unico contatto che Kuprin mantenne costantemente con la Russia mentre era all'estero fu quello con le sue sorelle Zinajda Nat e Sof'ja Možarova. È a loro che in un primo periodo inviò lettere cariche di dolore, causato dalla lontananza dal suo Paese. Nel corso degli anni tuttavia questo sentimento così struggente si trasformò in triste malinconia: uno stato d'animo meno acuto, ma non per questo meno doloroso.

Dopo aver vissuto a Passy, Kuprin coronò il sogno di tornare a vivere in mezzo alla natura, come nel periodo in cui abitava a Gatčina. Iniziò infatti ad affittare

7. *Ibidem*, pp. 120: “Ascolta le tue brave insegnanti”

8. *Ibidem*, pp. 122: “Mio padre, che era dimagrito molto, non assomigliava già più ad sovrano tataro, e sulla soglia dei cinquant'anni aveva l'aspetto del tipico intellettuale russo. Tra i suoi capelli folti e tagliati corti [...] spuntavano dei fili bianchi e grigi [...]”.

una casa di campagna a Sèvres-Ville D'Avray, costruita su due piani e circondata da un giardino in discesa piuttosto piccolo e stretto. È qui che sperò di ricostruirsi una vita tranquilla, lontana dal caos della grande metropoli; ma le sue aspettative vennero tradite. Così scrisse la figlia:

“Чужая обстановка, чужая земля и чужие растения на ней стали вызывать у отца горкую тоску по далекой России. Ничто ему не было мило. Даже запахи земли и цветов. Он говорил, что сирень пахнет керосином. Очень скоро он перестал копаться в клумбах и грядках.”⁹

Intanto la famiglia era oppressa sempre più dai debiti:

“Маме приходилось брать в кредит провизию у лавочников. Потом мясники и булочники приходили к нам требовать немедленной уплаты, орали и бессовестно обсчитывали.”¹⁰

Accadde loro in inverno di ritrovarsi senza cibo, e di andare nella foresta di Saint-Cloud per raccogliere delle castagne, e sfamarsi con queste. Non di rado vennero privati dell'uso dell'energia elettrica e dell'acqua corrente, dal momento che non riuscivano a pagare le bollette.

Pur vivendo in campagna, diverse persone in quel periodo continuarono a far visita ad Aleksandr Ivanovič. Un ospite di particolare rilievo fu il produttore cinematografico Viktor Turžanskij, giunto a Sèvres-Ville D'Avray assieme alla moglie, l'attrice Natalija Kovan'ko, per chiedere a Kuprin di riscrivere la scenografia del film del regista tedesco Fritz Lang, *De drie Lichten*.

Kuprin accettò l'incarico pieno di entusiasmo, e scrisse la prima parte della scenografia in pochi giorni, poiché si sentiva ispirato. D'un tratto però si bloccò, senza più riuscire ad andare avanti, e comunicò a Turžanskij di non sentirsi più adatto a continuare il lavoro. Ciò dispiacque molto ad Aleksandr Ivanovič, ma fu probabilmente Elizaveta a soffrirne di più: quella poteva essere una bella occasione per accumulare del denaro, e poiché le sembrava cosa semplice scrivere una scenografia, decise di provarci lei. La sua intraprendenza suscitò il riso del marito e della figlia, e così strappò umiliata ciò che aveva composto fino a quel momento.

9. K. A. Kuprina, *Kuprin– moj otec*, cap. 17, pp. 133: “L'ambiente diverso, la terra diversa, e le piante che vi crescevano iniziarono a suscitare in mio padre un'amara mancanza della lontana Russia. Niente gli era caro. Neanche il profumo della terra e i fiori. Soleva dire che il lillà puzzava di cherosene. Molto presto smise di occuparsi delle aiuole e dell'orticello”

10. *Ibidem*, pp. 133: “La mamma era costretta a fare credito nelle botteghe per comprare da mangiare. Poi macellai e panettieri venivano a casa nostra a riscuotere il pagamento, urlavano e ci imbrogliavano nel fare i conti”.

“По этому сценарию видно, насколько фантазия изменила отцу. Сценарий не имел успеха. И тут моя мама решила, что и она сможет написать сценарий. Отца это насмешило. Мы ходили с ним на цыпочках по дому и, прикладывая палец к губам, шепотом говорили: “Тсс, мама пишет!” Мы так ее извели, что однажды она расплакалась и воскликнула: - какие у меня гадкие, злые дети!- и вслед за этим сожгла свою рукопись в камине.”¹¹

Anche l'attore Fedorovič Kolin passava spesso a salutare Kuprin: egli un tempo recitava al Teatro d'Arte di Mosca¹², e pur non conoscendo una sola parola in francese (faceva l'attore nei film muti), a Parigi era diventato molto famoso. Assieme amavano parlare della Russia, che mancava tantissimo ad entrambi, e talvolta in coppia andavano a casa del popolare regista francese Abel Gance. Sempre restando nell'ambito della cinematografia, sono da ricordare le visite dell'attore Valerij Inkižinov, che propose a Kuprin di mettere in scena il racconto *Štab-kapitan Rybnikov*. Il suo suggerimento tuttavia non venne realizzato.

Dopo aver provato a vivere in periferia, scontento dell'ambiente che lo circondava, nel 1923 Aleksandr ritornò assieme alla famiglia a Parigi. Questa volta prese in affitto due stanze in Rue du Ranelagh, che appartenevano alla vedova Zbyševska, un'amica di vecchia data conosciuta a Gatčina. La nuova abitazione dava proprio sul centralissimo Boulevard de Beauséjour, e si trovava vicino alla stazione ferroviaria. Mentre abitavano in Rue du Ranelagh, ebbero l'onore di accogliere in casa loro il principe Felix Yusupov, uno degli uomini più ricchi della Russia pre-rivoluzionaria. Fu, tra l'altro, proprio lui a scovare l'abile truffatore che a Parigi si spacciava per Kuprin, inviando lettere a vari intellettuali e aristocratici, nelle quali domandava denaro, spiegando la sua difficile posizione economica.

Aleksandr Ivanovič continuava a sentirsi spaesato in territorio francese: non trovando la sua dimensione, viveva immerso nella tristezza, e fu proprio questo stato d'animo a rendere complicato non solo il suo soggiorno all'estero, ma

11. K. A. Kuprina, *Kuprin – moj otec*, cap. 17, pp. 136: “Da questo episodio risulta chiaro quanto la fantasia avesse abbandonato mio padre. La sceneggiatura non ebbe successo. E allora mia mamma decise, che poteva scriverla lei. Ciò divertiva mio padre. Assieme a lui andavamo in giro per la casa in punta di piedi e, avvicinando l'indice alle labbra dicevamo: “Shh, la mamma sta scrivendo”. La stancammo a tal punto che un giorno scoppiò a piangere ed esclamò: “Ho un marito e una figlia perfidi, cattivi”, e subito dopo bruciò il suo copione nel camino.”

12. Московский Художественный Академический Театр

anche il suo equilibrio finanziario: scrivere gli risultava pressoché impossibile, e per questo non riusciva a vendere nulla alle case editrici. Egli desiderava semplicemente ritornare alla vita spartana che conduceva in Russia, e fu per questo che anche nella grande metropoli frequentava luoghi non sfarzosi, come il café Bussac, dove era cliente abituale. Qui beveva sempre il suo bicchierino di vodka proveniente della Normandia, e quando un giorno gli capitò di non avere abbastanza soldi per pagare il conto, regalò alla proprietaria del locale, madame Bussac, un suo libro, con tanto di dedica. In generale cercò sempre di attornarsi di persone semplici, in modo da sentirsi il più “a casa” possibile.

“В эмиграции он был почти отщепенцем. Хорошо ему было только в среде простых людей – каменщиков, маляров, садовников. Это были его французские друзья [...]”¹³

In generale, il periodo della vita di Kuprin trascorso a Parigi non fu molto produttivo dal punto di vista artistico: sapeva che i francesi non avrebbero apprezzato i suoi romanzi e i suoi racconti, che erano decisamente contro tendenza rispetto alla corrente artistica del Modernismo. Quando si trovava in Russia, riusciva a raffigurarsi perfettamente quelli che sarebbero stati i suoi lettori, e questo lo aiutava moltissimo nella composizione delle sue opere.

Essere circondato da una società, una lingua e delle abitudini non russe bloccava la sua capacità di scrivere, e fu questo il motivo principale della mancanza di denaro a cui dovette far fronte per tanti anni. Ciò che pubblicò in Francia spesso lo aveva già scritto, o iniziato a scrivere, in patria, e ciò che compose *ex novo* era nella maggior parte dei casi legato ai ricordi della sua infanzia passata in Russia, a quelli del servizio militare, alle esperienze di caccia di cui era appassionato, e alla felicità che provava nell’immergersi nella natura incontaminata del suo Paese.

Il mancato successo costrinse Aleksandr Ivanovič a collaborare con tante riviste durante tutto il periodo dell’emigrazione, nonostante il lavoro di redattore non gli fosse mai piaciuto. Ciò gli garantiva di avere una minima entrata mensile, anche se avrebbe preferito sostentarsi con il denaro ricavato dalla pubblicazione di nuove opere di successo.

Gli amici cercarono spesso di aiutare come potevano la famiglia Kuprin, e Leonard Rozenhal in particolare tentò una volta per tutte di risolvere i loro

13. Boris Kiselev, *Rasskazy o Kuprine*, pp. 194: “Durante l’emigrazione era praticamente un rinnegato. Stava bene soltanto in mezzo a persone semplici – muratori, imbianchini, giardinieri [...]”

problemi economici. Costui era un ricchissimo magnate appassionato di arte, che aiutava gli scrittori a pubblicare le loro opere e lanciava nuove figure nel mercato letterario. Fu lui che nel 1926 diede la possibilità ad Elizaveta Moricovna di aprire una legatoria: tutte le speranze dei Kuprin ora poggiavano sul futuro andamento di questa attività.

“В 1926 году, вместе с профессиональным мастером-переплетчиком и маленьким подмастерьем, мама открыла переплетную мастерскую. На маме лежала обязанность не только финансирования машин и сырья, но и сбор заказов, которых было много. Компаньон оказался пьяницей и часто не выполнял заказов. Подмастерье поранил себя резцом, и пришлось платить за его длительное лечение.”¹⁴

Come riportato dalla figlia Ksenia, i collaboratori non aiutavano nel buon funzionamento della bottega, e gli ordini continuavano a diminuire, tanto che l'attività fallì presto, e si fu costretti a liquidarla, avendo intanto accumulato diversi debiti. Ma Elizaveta non si arrese, e decise subito dopo di aprire una biblioteca in rue Fondary:

“Тогда Елизавета Морицовна – женщина неутомимая и изобретательная – создала на улице Фонари небольшую “библиотеку А. И. Куприа”, предназначенную для русских эмигрантов. Книги из библиотеки выдавались читателям под залог незначительной суммы денег.”¹⁵

Anche questa però non rimase aperta per molto tempo:

“Библиотека доставляла много хлопот, а доходы от нее были грошовыми, мизерными.”¹⁶

14. K. A. Kuprina, *Kuprin – moj otec*, cap. 22, pp. 165: “Nel 1926, assieme ad un mastro rilegatore di libri e ad un basso apprendista, la mamma aprì una legatoria. Su di lei gravava non soltanto la responsabilità di finanziare le macchine e le materie prime, ma anche l'acquisizione degli ordini, che erano molti. Il suo socio si rivelò essere un ubriacone, e spesso non portava a termine le sue commissioni. L'apprendista si ferì con un utensile da taglio, e toccò pagare per le sue cure a lungo termine

15. F. I. Kulešov, *Tvorčeskij put' Kuprina*, pp. 207: “Allora Elizaveta Moricovna, donna instancabile e piena di inventiva, aprì in Rue Fonary la piccola “Biblioteca di A. I. Kuprin”, designata per gli emigrati russi. I libri venivano rilasciati ai lettori sotto un esiguo deposito di denaro”.

16. *Ibidem*, pp. 208: “La biblioteca portò con sé molti problemi, e i guadagni erano costituiti da pochi centesimi, una misera”.

Intanto i Kuprin cambiarono casa per l'ennesima volta, andando ad occupare un piccolo appartamento lungo Boulevard Montmorency. Le porte e le finestre di due stanze davano su di un piccolo giardinetto dalla terra arida e sterile, mentre una terza stanza si trovava alla fine di un lungo corridoio, ed era lì che si trovava lo studio di Aleksandr.

“В конце длинного коридора находилось третья комната, кабинет отца, которую из-за зеленых обоев он называл своим аквариумом. Там он с трудом, а иногда тщетно, старался писать, чтобы заработать на нашу скудную жизнь.”¹⁷

In quest'ultima abitazione parigina rimasero dieci anni, e Kuprin trovò il suo equilibrio, conducendo una vita molto regolare e scandita dalle sue abitudini, seppur all'insegna del costante malessere e della latente malinconia, causati dalla lontananza della madrepatria.

“Десять лет гулял отец вдоль железной дороги, покупал газету в ларьке, переходил воздушную лесенку, чтобы посидеть на скамейке в Булонском лесу, предаваясь грустным думам”¹⁸

Tra i pochi avvenimenti mondani che animavano la vita dello scrittore, c'erano i balli di beneficenza che venivano pianificati un paio di volte all'anno nelle sale dell'hotel Lutetia. Il ricavo delle serate veniva successivamente donato agli asili o agli ospizi. Era, questa, una tradizione diffusa tra gli emigrati russi, un'occasione che dava loro la possibilità di incontrarsi, parlarsi, e stringere nuove amicizie o nuove collaborazioni lavorative. A partire dal 1924, molti scrittori, artisti, e pittori iniziarono ad organizzare privatamente delle serate: affittavano una sala, stampavano i biglietti, e li facevano circolare:

“Это давало возможность расплатиться с долгами и немножко вздохнуть от вечной мерзкой нищеты.”¹⁹

17. K. A. Kuprina, *Kuprin– moj otec*, cap. 21, pp. 158: “Alla fine di un corridoio molto lungo c'era una terza stanza, lo studio di mio padre, che a causa della carta da parati verde, egli definiva il proprio acquario. Era lì che con fatica, e talvolta invano, tentava di scrivere, per cercare di guadagnare dei soldi per la nostra miserabile vita.”

18. *Ibidem*, pp.158: “Per dieci anni mio padre passeggiò lungo la ferrovia, comprò il giornale all'edicola, attraversò il fresco boschetto, per andarsi a sedere sulla panchina del parco “Bois de Boulogne”, mentre indugiava immerso in tristi pensieri”.

19. K. A. Kuprina, *Kuprin– moj otec*, cap. 22, pp. 163: “Tutto ciò dava la possibilità di scrollarsi di dosso i debiti, e prendersi una pausa dalla costante e terribile povertà”

Lo stesso Kuprin si cimentò nel coordinamento di questo tipo di feste. Tra i suoi ospiti d'onore c'erano il quartetto dei fratelli Kedrov, che scrivevano ed eseguivano musica liturgica, Nina Košiz, cantante soprano, e Teffi, che componeva racconti umoristici. Tuttavia tali serate divennero via via meno frequenti, e ad un certo punto risultò persino difficile riuscire a vendere i biglietti che venivano stampati. Significativa risulta la lettera che Aleksej Remizov inviò ad Aleksandr Ivanovič, chiedendogli di pubblicare nella rivista *Russkaja Gazeta* l'annuncio della serata di lettura che aveva organizzato per il 29 aprile 1927.

Una costante nella vita di Kuprin furono invece gli animali: quando un tempo abitava in campagna amava vivere assieme ad ogni tipo di essere vivente a due o quattro zampe. Quando era a Gatčina per esempio ne era letteralmente circondato:

“В какой-то момент здесь насчитывалось одних собак 17 штук, а были еще кошки, кролики, куры, гусы, утки, поросенок, теленок, обезьяна”²⁰

Sua figlia Ksenia racconta che ad un certo punto il padre riuscì addirittura ad avere un serpente nella sua vasta collezione zoologica domestica.

Nella grande metropoli era impossibile vivere assieme a così tanti animali, ma questo non impedì a Kuprin di avere sempre la compagnia di un cane o di un gatto. Conosciuto da tutti era sicuramente il miccio Yu-yu, che visse per dieci anni nell'ultima e definitiva abitazione di Parigi della famiglia. Fu proprio a questo leggendario gatto che Kuprin dedicò uno dei molti racconti incentrati sul tema della bellezza della natura e sull'intelligenza degli animali.

2.3 La produzione artistica durante gli anni all'estero

Nessuna testimonianza rivela la crisi creativa e lo stato d'animo di Kuprin meglio di questa sua affermazione dell'inizio del 1926:

“О чем же писать? Не настоящая здесь жизнь. Нельзя нам писать здесь. Писать о России? По зрительной памяти я не могу. Когда-то я жил тем, о чем писал. О балаклавских рабочих писал и жил их

20. Boris Kiselev, *Rasskazy o Kuprine*, pp. 185: “Ad un certo punto qui c'erano ben 17 cani, ma anche gatti, conigli, galline, oche, anatre, maiali, vitelli, e una scimmia.”

жизнью, с ними сроднился. Меня жизнь тянула к себе, интересовала, жил я с теми, о ком писал. [...] А теперь что? Все пропадает.”²¹

L'ambiente che lo circondava non gli permise di esprimere il suo talento, e il suo stile non era decisamente in linea con le tendenze di quegli anni: Parigi era la culla delle nuove correnti del Modernismo, e tra gli emigrati russi ebbero successo coloro che sposarono una poetica reazionaria, come Dmitrij Sergeevič Merežkovskij, Zinaida Gippius, ed ovviamente Ivan Bunin.

“Но и большого художника Вунина роднит с Мережковским и Гишпиус тема смерти, обреченности, безысходности. Необычайно многообразны вариации этой темы: здесь и господство мертвого над живым, и радость успокоения в небытии, и образы разного рода. [...] Такого рода творчество было глубоко чуждо Куприну и в былые годы и в годы эмиграции. Поэтому он не мог, подобно Шмелеву и Юшкевичу, попытаться сменить реалистические одежды на символистские.”²²

Tuttavia ad Aleksandr Ivanovič non piacevano le tematiche del Modernismo: la negazione di ogni concetto morale, delle tradizioni, l'eliminazione delle regole classiche nella composizione di un testo, lo smantellamento della lingua, e così via. Egli non riusciva ad abbandonare i panni dello scrittore realista, e come lui anche Ivan Šmelëv e Semen Juškevič.

Fu per questo che Kuprin non divenne mai un autore particolarmente in vista nel panorama culturale francese, anche se diversi critici lo stimavano, e apprezzavano enormemente la sua bravura nel descrivere paesaggi e persone. Ebbero comunque successo alcuni suoi racconti, grazie ai quali venne paragonato a Maupassant, ed una buona riuscita si registrò per i due romanzi *Yunker*

21. F. I. Kulešov, *Tvorčeskij put' Kuprina*, pp. 223-224: “Riguardo a cosa posso scrivere? Questa non è vita. Noi non possiamo scrivere stando qui. Scrivere sulla Russia? Non ci riesco usando solo la memoria visiva. Un tempo vivevo ciò che scrivevo. Quando parlai dei manovali di Balaklava, conducevo la loro vita, eravamo diventati amici intimi. La vita mi attirava, mi interessava, vivevo assieme alle persone di cui poi scrivevo. [...] E adesso invece? È tutto svanito.”

22. A. A. Volkov, *Tvorčestvo A. I. Kuprina*, cap.6, pp. 399: “Il tema della morte, dello smarrimento (il sentirsi perduto), e della disperazione accomunavano il grande scrittore-pittore Bunin con Merežkovskij e Gippius. Vi erano un numero incredibile di variazioni di questo tema: la supremazia della morte sulla vita, la felicità della calma nel non essere, e altre ancora. [...] Questo genere di attività artistica era profondamente estraneo a Kuprin sia negli anni passati (in Russia) che in quelli dell'emigrazione. Per questo non tentò, così come Šmelëv e Juškevič, di cambiare i suoi panni da realista in panni da simbolista.”

e *Žaneta*.

Kuprin era consapevole della sua estraniamento, ma davvero non poteva farci nulla; lontano dalla sua terra non fu affatto produttivo, e l'unica soluzione era ritornarci:

“Есть, конечно, писатели такие, что их хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение – они и там будут писать роман за романом. А мне все надо родное, всякое – хорошее, плохое, - только родное.”²³

Disse anche che se avesse saputo di poter un giorno far ritorno in Russia, avrebbe vissuto il periodo dell'emigrazione in modo migliore, con animo più leggero: ma la possibilità di rimettere piede nella sua terra natia si presentò proprio all'ultimo, quando ormai era già gravemente malato. Aleksandr Ivanovič infatti riuscì a far ritorno in patria solo nel 1937, e morì l'anno successivo.

2.3.1 I racconti

La prima raccolta che venne pubblicata a Parigi fu *Zvezda Solomona* (*La stella di Salomone*, 1920), all'interno della quale si trovavano racconti già precedentemente stampati in Russia: *Anafema* (*Anatema*, 1913), *Každoe želanie* (*Ogni desiderio*, 1917), a cui venne cambiato il titolo in *Zvezda Solomona*, e *Carskij pisar'* (*Lo scriba dello zar*, 1918). Solo *Limonnaja korka* (*Buccia di limone*, 1920) non era ancora mai stato presentato al pubblico. In questo nuovo racconto Kuprin si immerse nel mondo del pugilato, di cui era molto appassionato, così come d'altronde lo era di tutti gli sport. L'importanza che dava al culto del corpo era davvero esemplare: tutti, compresi gli scrittori, dovevano dedicarsi all'attività fisica; già all'istituto militare era conosciuto per la sua forza e per la sua elasticità:

“Еще в корпусе и в юнкерском училище Куприн был знаменит как 'гимнаст, танцор и отличный строевик'. В нем от рождения жила любовь к точным и ловким движениям.”²⁴

23. Tratto dalla raccolta delle opere di A. I. Kuprin, tomo 6, pp. 779, Goslitizdat, 1958: “Esistono, certamente, scrittori che se anche vengono mandati per sempre in esilio in Madagascar, continuano a scrivere anche lì un romanzo dietro l'altro. Io invece ho bisogno della patria, dei suoi aspetti positivi e di quelli negativi, di tutto, basta che di patria si tratti.”

24. N. Veržbickij, *Vstreči s A. I. Kuprinym*, pp. 85: “Già alla scuola per cadetti e all'accademia militare era conosciuto come il ginnasta, ballerino, ed energico combattente”. In lui fin dalla nascita viveva l'amore per i movimenti precisi e agili”.

Amava andare al circo, e fece di equilibristi e clown i protagonisti di molti suoi racconti. La famosa storia del barboncino bianco (*Belyj pudel'*, Il barboncino bianco, 1904) che si esibiva in una compagnia circense ebbe successo in moltissimi Paesi, diventando una delle sue storie per bambini maggiormente conosciute ed apprezzate. Per lui il circo era formativo, e non soltanto per i più piccoli:

“Для детей цирк – только забава, а для взрослых – университет”²⁵

In generale, il movimento e la velocità rappresentavano per lui una fonte d'ispirazione, e tra le sue passioni va ricordata l'aviazione: credeva moltissimo nei suoi sviluppi futuri, e seguì con interesse e professionalità i primi successi russi in questa disciplina: nel 1911 assistette al primo volo da San Pietroburgo a Mosca. Egli stesso poi si cimentò nel volo con il deltaplano.

Tuttavia il mondo del pugilato lo attirava ancor di più, forse perché negli anni '20 era molto seguito a livello mondiale: nel 1921 ebbe luogo lo storico incontro di box tra l'americano Jack Dempsey e il francese Georges Carpentier, a cui dedicò il saggio *Sila ducha* (*La Forza dell'animo*). È qui che Kuprin sottolineò l'importanza della forza interiore, la “forza dello spirito”, per il raggiungimento della vittoria. Lo scontro tra i due colossi avvenne il 21 luglio, data che segue la festa dell'Indipendenza americana: questo, secondo Aleksandr Ivanovič, avrebbe caricato l'animo di Dempsey di energia, di voglia di aggiudicarsi il titolo mondiale, per non deludere il suo Paese che lo stava guardando. Fu lui infatti a vincere sul ring.

“По нашей с папой прозбе мама сшила нам некое подобие боксерских перчаток, и папа принялся учить меня этому спорту. Я сначала безропотно принимала удары, но однажды рассердилась и довольно больно попала в папин нос. Маме пришлось нас разнимать. После этого мы перестали тузить друг друга [...]”²⁶

In *Limonnaja korka* quindi si trova tutta la sua passione per questo sport: i due protagonisti, l'irlandese Sullivan e l'afroamericano Richmond combattono

25. *Ibidem*, pp. 88 : “Per i bambini il circo è un divertimento, ma per gli adulti è un'università”.

26. K. A. Kuprina, Kuprin – *moj otec*, cap. 17, pp. 137: “Sotto la richiesta mia e del papà, la mamma ci cucì una specie di guantoni da pugilato, ed il papà iniziò ad insegnarmi questo gioco. All'inizio, rassegnata, incassavo i colpi, ma una volta mi arrabbiai e colpì il naso del papà in maniera piuttosto dolorosa. Alla mamma toccò venirci a separare. Dopo questo episodio smettemmo di combattere l'uno contro l'altro [...]”

un incontro spietato, che termina a causa di una banale buccia di limone, sulla quale Richmond cade spezzandosi una gamba. La protagonista di questo componimento è una “barzelletta tragicomica”, disse lo stesso Kuprin. Nonostante siano stati toccati alcuni temi profondi, come la superiorità della razza bianca, rappresentata dall'irlandese, su quella nera, rappresentata dall'afroamericano, *Limonnaja korka* destò interesse artistico solo per la sue descrizioni realistiche: i movimenti veloci e scattanti dei pugili, il sudore sulle loro fronti, la fatica quasi tangibile dello sforzo fisico:

“социальные чувства автора сдержаны, его симпатии и антипатии едва определимы. Это лишает рассказ протестующего пафоса и снижает эстетическое достоинство произведения, впрочем, графически четкого по рисунку, тщательно отделанного в живописно-художественных деталях.”²⁷

La semplicità quasi eccessiva dei contenuti, opposta alla bellezza della forma, caratterizzò comunque molti racconti scritti durante l'emigrazione:

“Несоответствие между незначительностью содержания и словно сверкающей отделкой формы отличает подавляющее большинство купринских рассказов двадцатых годов.”²⁸

Stilisticamente e in parte tematicamente simile a *Limonnaja korka*, è *Punzovaja krov'* (*Sangue cremisi*, 1926), pubblicato sul giornale della città di Riga *Perezvony*. Questo racconto vede come ambientazione la realtà spagnola della corrida: così come aveva fatto per gli incontri di pugilato, Kuprin con meticolosità descrisse i movimenti, la tensione, l'attesa e la pericolosità della lotta tra uomo e mondo animale, rappresentato in questo caso dai tori.

Anche il genere delle leggende e delle fiabe tuttavia aveva interessato Aleksandr Ivanovič nel periodo passato in Francia (così come in quello pre-rivoluzionario, basti pensare ad *Al'-Issa*, *Demir-Kaja* e *Dva svjatitelja*, (*Due santi*, 1915), e i racconti *Kismet* (*Il destino*), altrimenti conosciuto come *Sud'ba* (*Il destino*, 1923), e *Sinjaja Zvezda* (*La Stella Blu*, 1927) ne sono la conferma.

27. F. I. Kulešov, *Tvorčeskij put' Kuprina*, pp. 220: “Le preferenze sociali dell'autore sono restie, le sue simpatie e antipatie appena definibili. Ciò priva il racconto del pathos contestatore e riduce i pregi estetici dell'opera, anche se resta graficamente nitido, attentamente rifinito nei dettagli pittorico-artistici.”

28. *Ibidem*, pp. 220: “L'incongruenza tra la trivialità del contenuto e la brillante rifinitura della forma caratterizza la stragrande maggioranza dei racconti di Kuprin degli anni '20.”

Il primo, uscito nel settimanale parigino *Zveno*, è denso di informazioni sulle tradizioni orientali, e vede come protagonista un anziano profeta, protettore dei più poveri, abile conoscitore delle pietre preziose e degli elementi naturali, uomo buono e saggio. Il secondo invece apparì direttamente nella nuova raccolta del 1927²⁹, dove poi rientrarono molti racconti scritti da Kuprin a Parigi, tra cui anche *Limmonaja korka* e *Punzovaja krov'*.

Sinjaja Zvezda è ambientato nel Medioevo, e vede la descrizione di un paese utopico, dove non ci sono guerre, gli uomini sono vicini alla natura, ancora non intaccati dalla tipica corruzione occidentale, privi di leggi scritte ad eccezione di "Nessuno osi mentire"³⁰. Gli abitanti di questo paese nascono tutti belli, e se Madre Natura li ha privati della gradevolezza estetica, avrà sicuramente dato loro un'anima pura e candida, come quella della principessa Erna, protagonista dell'opera. Anche la libertà e l'uguaglianza davanti alla legge sono valori indiscutibili, e l'intera realtà in cui viene calata la narrazione comincia ad apparire fantastica, così come la credibilità dell'esistenza umana. In *Sinjaja Zvezda* Kuprin sembra voler cercare nel lontano Medioevo un prototipo di stato che si addica al futuro suo paese. Il passato gli si presenta in maniera positiva, contrariamente al presente, di cui però decide di non parlare.

Il ricordo della Russia non abbandonò mai Aleksandr Ivanovič, e in tutto ciò che scrisse a Parigi si percepiscono facilmente gli echi della sua cultura e delle sue tradizioni, alle quali era fortemente legato. Spesso scrisse usando materiale raccolto in patria, e una delle opere in cui tutto ciò si percepisce di più è *Odnorukij komendant* (*Il Comandante con una mano sola*, 1923). Il racconto, apparso per la prima volta nel 1923 nella raccolta intitolata *Okno* (*La Finestra*), unisce fatti storici e testimonianze reali ad aneddoti e leggende. Qui, in particolare, viene richiamata la figura del vecchio generale russo Matvej Skobelev, e di conseguenza viene riportato in scena il clima che lo stesso Aleksandr respirava in passato, prima di abbandonare il suo Paese.

Ma quali racconti, meglio di quelli a tema naturale e zoologico, ci riportano così vividamente in Russia? La descrizione precisa e accurata dei boschi, delle battute di caccia e degli animali non può che ricondurci al periodo passato in patria. Una delle fasi più felici e serene della vita di Kuprin fu infatti quella

29. La raccolta *Novye povesti i rasskazy* comprendeva al suo interno: *Odnorukij komendant* (1923), *Yu-yu* (1927), *Zolotoj petuch* (1923), *Punzovaja krov'* (1926), il ciclo *Jug blagoslovennyj* (1927), *Sud'ba* (1923), *Medvež'ja molitva* (1927), *Sinjaja zvezda* (1927), *Lesenka golubaja* (1927)

30. "Никто не смеет лгать"

trascorsa accanto al cognato Stanislav Genrichovič Nat, guardaboschi, marito di Zinaida Ivanovna, la sorella più vecchia di Aleksandr Ivanovič. Costui era conosciuto da tutti come “Il corvo nero” o “L'uomo dei boschi”³¹, e alla sua figura Kuprin si ispirò per creare l'eroe del racconto *Černaja molnija* (*Il Fulmine nero*, 1913).

“Куприн познакомился с Натом еще в Москве в восьмидесятые годы, но сдружился с ним на Украине, когда вышел в запас и приехал к Нату охотиться в Звенигородское лесничество. Здесь Куприн впервые встретился с огромными лесными массивами, с могучими лесными чащами. Охотясь с Натом и слушая его рассказы [...], Куприн полюбил лес.”³²

Fu proprio Nat dunque a far innamorare Kuprin della foresta, e grazie a lui compose bellissimi racconti di caccia, come *Noč' v lesu* (*Una notte nel bosco*, 1931) e *Val'dšnepy* (*Le Beccacce*, 1933). Aver vissuto in prima persona le nottate sotto le stelle, ascoltando gli instancabili rumori del bosco, sentendo i profumi degli alberi e delle piante, e osservando la magia di un paesaggio così puro e incontaminato, servirono all'autore nella descrizione minuziosa della natura.

“Нат и Куприн охотились, ночевали в лесу, сидели у костров, вели долгие разговоры о русском лесе. В Натe было сочетание разнообразных свойств. Неутомимый пешеход, меткий стелок, охотник с тончайшим слухом и зорким глазом, вечером у костра превращался в ученого-лесоведа, в профессора, читающего лекцию о лесных богатствах России и рациональных способах эксплуатации их.”³³

31. “Черный Ворон”, “Лесной Человек”

32. Boris Kiselev, *Rasskazy o Kuprine*, pp.177: “Kuprin conobbe Nat ancora a Mosca negli anni '80, ma fece amicizia con lui in Ucraina, quando andò in ritiro e lo raggiunse per cacciare nella tenuta boschiva di Zvenigorod. Qui Kuprin per la prima volta vide le enormi masse della foresta, folte e possenti. Cacciando assieme a Nat e ascoltando i suoi racconti, Kuprin si innamorò del bosco.”

33. *Ibidem*, pp. 178: “Nat e Kuprin andavano a caccia, passavano la notte nel bosco, sedevano presso il fuoco, facevano lunghi discorsi sulla foresta russa. Nat era una combinazione di varie qualità. Era un instancabile camminatore, un preciso tiratore, un cacciatore con udito fino e vista acuta, alla sera presso il focolare si trasformava in esperto conoscitore, in professore, spiegando le ricchezze dei boschi della Russia e i metodi razionali per sfruttarle.”

Quando la famiglia Kuprin abitava a Žitomir, ospite nella tenuta di Nat (vi si trasferiscono nel 1909), Aleksandr Ivanovič spariva spesso per giorni interi, e assieme a lui si assentava il suo fedelissimo cane Negodjaj.

Anche il periodo passato a Gatčina fu fondamentale per la composizione di molti racconti: qui Kuprin viveva circondato dagli animali. Spesso le persone regalavano ad Aleksandr cuccioli di ogni tipo, come l'amico Leonid Andreev che gli donò degli esemplari di San Bernardo appena nati. Ricevette anche una scimmia, di nome Mar'ja Ivanovna:

“Это было умное, сообразительное, но злое и проказливое животное. В Зеленом домике Куприна в Гатчине Марья Ивановна натворила невероятное количество бед – перебила всю чайную посуду, ободрала в комнатах обои, повыдергала из вазонов и кадок растения...”³⁴

Questa però Kuprin non poté proprio tenerla, a causa della sua estrema vivacità, e decise di regalarla all'amico clown Žakomino. Egli, la prima volta, la inserì in due numeri acrobatici durante lo spettacolo, ed ebbe subito l'approvazione del pubblico, fino a quando la scimmia non balzò addosso ad una signora, la morse e le strappò la gonna:

“Наступил день первого представления Жакомино с обезьяной. Она блестяще выполнила два первых номера и вызвала единодушное одобрение зрителей. Но вот вдоль барьера в местах для публики появилась дама в шикарном, сильно шумящем шелковом платье. В два прыжка Марья Ивановна очутилась возле дамы и стала рвать на ней юбку. Дама закрычала, начала отбиваться. Обезьянка укусила ее. В цирке поднялся переполох. “Обезьяна взбесилась!”- кричали люди. Часть зрителей ринулась к выходу. Жакомино судили, приговорили к отсидке и уплате даме за испорченное платье. Марью Ивановну пришлось отдать в зоологический сад.”³⁵

34. Boris Kiselev, *Rasskazy o Kuprine*, pp. 186: “Era un animale intelligente e astuto, ma cattivo e dispettoso. Nella casa Verde di Kuprin a Gatčina Mar'ja Ivanovna combinò un quantità incredibile di guai: ruppe tutti i piattini da tè, staccò dai muri delle camere la carta da parati, sradicò dai vasi e dai tini le piante

35. *Ibidem*, pp. 187: “Giunse il giorno della prima rappresentazione di Žakomino con la scimmia. Questa portò a termine brillantemente i primi due numeri e suscitò l'approvazione unanime degli spettatori. Ma ecco apparire lungo la barriera che delimita le postazioni del pubblico una donna elegante, con un vestito di seta che tintinnava rumorosamente. In soli due salti Mar'ja Ivanovna si ritrovò vicino alla donna e iniziò a strapparle la gonna dell'abito.

Kuprin inoltre era un attento osservatore dell'indole degli animali, e il suo amico D. F. Batjuškov nell'articolo (mai pubblicato) *Stichijnyj talant* (*Talento naturale*, 1966) racconta che aveva persino tentato di studiare il comportamento e la "psicologia" dei cavalli. Ne aveva condotto uno in casa, e lo aveva seguito durante tutto l'arco della giornata: una delle cose che gli interessava capire era, per esempio, come dormivano. In realtà lo attiravano le attitudini di tutto l'universo faunistico:

“И действительно, не сама охота интересовала Куприна, а ощущения во время охоты, полет птиц, бег зверей, переживания охотников.”³⁶

Una volta emigrato però Kuprin dovette privarsi di questa grande passione. Gli unici animali che poté permettersi di tenere negli angusti appartamenti di Parigi, considerata anche la sua ristrettezza economica, erano i gatti.

Un giorno giunse il marito dell'ex-cuoca dei Kuprin, Katerina Matveevna, per riscuotere, in cambio del lardo di maiale, una stola di seta molto preziosa e una paio di binocoli contenuti in un bell'astuccio di pelle gialla. Avendo visto nell'angolo della stanza un gatto accovacciato un po' troppo magro, perché denutrito, decise che voleva pure quello come riscatto del debito. Ciò ovviamente causò molto dolore per la famiglia, in particolare per la piccola Ksenia, affezionata alla bestiola.

Yu-yu in realtà era conosciuto in tutto il vicinato per la sua bellezza e la sua intelligenza, e visse nell'appartamento di Rue du Ranelagh per ben dieci anni. Era così acuto che in momenti diversi della giornata andava ad aspettare i Kuprin alla stazione ferroviaria o a quella della metro, e non tornava a casa prima che tutti e tre fossero rientrati dai loro impegni lavorativi. Quando Ksenia si ammalò e fu costretta a passare diversi mesi in una clinica svizzera, Yu-yu diventò tristissimo, al pensiero che la padrona lo avesse abbandonato: fu allora che Aleksandr Ivanovič volle fare uno dei suoi esperimenti: fece parlare la figlia al telefono, e appoggiò la cornetta all'orecchio del gatto, per vedere se riconoscesse la sua voce. Questo episodio, comunque, venne riportato, tale quale lo descrive Ksenia, proprio nel racconto *Yu-Yu* (1927):

La donna si mise a urlare, ed iniziò a dibattersi. La scimmia la morse. All'interno del circo si diffuse l'agitazione. “La scimmia è impazzita!”- urlavano le persone. Una parte degli spettatori si affrettò verso l'uscita. Processarono Žakomino, lo condannarono alla prigione e al risarcimento del vestito. Mar'ja Ivanovna toccò darla allo zoo.”

36. Boris Kiselev, *Rasskazy o Kuprine*, pp. 188: “In realtà non era la caccia di per sé ad interessare a Kuprin, ma le sensazioni che provava, il volo degli uccelli, la corsa delle lepri, le storie raccontate dai cacciatori”

“Ответил отец и потребовал, чтобы я поговорила с Ю-ю – ему хотелось проверить, узнает ли кот мой голос. Я ответила, что не могу тратить драгоценные минуты на глупости, умоляла позвать маму, но отец упрямо повторил: “Сначала поговори с Ю-ю”. Не помню, чем окончилось этот разговор, но отец уверял, что с тех пор Ю-ю стал спать, свернувшись клубочком вокруг телефона.”³⁷

Anche i cani furono protagonisti di molti racconti scritti a Parigi, di cui ricordiamo *Pesik-Černyj nosik* (*Pesik, Nasino nero*, 1921), *Bal't* (*Balto*, 1926), *Zavirajka* (1928), e *Ralf'* (1934). Sono ancora tante le storie che Kuprin dedica al mondo animale e vegetale, e dovendone citare delle altre, scritte sempre in Francia, non si possono omettere *Zolotoj petuch* (*L'uccello d'oro*, 1923) e *Nočnaja fialka* (*La Viola notturna*, 1933). Nel primo l'autore descrive il risveglio della foresta al mattino presto, parla dei profumi degli alberi, dei fiori e delle cortecce, del canto degli uccelli, e ci appare in estasi davanti alla bellezza della natura. È con lei che l'uomo si fonde, dando vita ad un meraviglioso rapporto.

“Куприн любит животных. Это мои младшие братья и сестры”, - говорит он. [...] Ни один русский писатель не написал так много и хорошо о животных, как он. С такой же нежностью и любовью относится он к цветам, растениям.”³⁸

L'opera più riuscita fuori della Russia fu però *Žaneta* (1934), una *povest'*, ossia un racconto lungo (definito talvolta anche romanzo breve), che venne pubblicato per la prima volta nell'omonima raccolta³⁹. Il protagonista, Simonov, è un emigrato russo, professore di fisica e chimica: la sua biografia non assomiglia a quella di Kuprin, ad eccezione della comune lontananza dal proprio paese. La vita di quest'uomo è caratterizzata dalla solitudine:

37. K. A. Kuprina, *Kuprin – moj otec*, cap. 21, pp. 160: “Rispose mio padre e mi pregò di parlare un po' con Yu-yu: voleva controllare se il gatto fosse in grado di riconoscere la mia voce. Io risposi che non potevo sprecare minuti preziosi per delle stupidaggini, implorai di passarmi la mamma, ma mio padre testardamente ripeté: “Prima parla un po' con Yu-Yu”. Non ricordo come terminò questo discorso, ma mio padre assicurò che da quel momento in poi Yu-yu iniziò a dormire tutta raggomitolata accanto al telefono.”

38. Boris Kiselev, *Rasskazy o Kuprine*, pp. 189: “Kuprin ama gli animali. “Sono i miei fratelli e le mie sorelle minori”-dice. Nessun scrittore russo descrive così tanto e così bene gli animali, come lui. Con la stessa delicatezza e con lo stesso amore si rivolge ai fiori e alle piante.”

39. La raccolta *Žaneta* (1934) si apre con l'omonima *povest'*, seguono i racconti *Šestoe čuvstvo* (1934), *Aleša* (1934), *Blondel'* (1933), *Gemma* (1932), *Svetoč carstva* (1930), *Poterjannoe serdce* (1931), *Rasskaz o rybke “rasskass”* (1931), *Sistema* (1932), *Nataša* (1932), *Noč' v lesu* (1931), *Veronika* (1934), *Udod* (1932), *Ferdinand* (1930) e *Nočnaja fialka* (1933).

“Писатель создает атмосферу одиночества вокруг Симонова. [. . .] Профессор вовсе не питает к людям отвращения, он вовсе не презирает их, он просто так вышиблен из колеи жизни, что существует в некоем четвертом измерении, так же непонятном людям, среди которых находится профессор, как чужда и непонятна ему жизнь этих людей или, вернее, как она недоступно его 'я'”.⁴⁰

Ed è proprio l'acutezza dei sentimenti ad aver reso questa povest' l'opera di Aleksandr Ivanovič più amata dai francesi. Vi si legge perfettamente la malinconia, la tristezza e la paura dell'autore di non poter più rivedere la Russia prima di morire:

“ 'Жанета' - ярчайшее доказательство того, что только написанное кровью сердца может достигать вершин красоты и правды.”⁴¹

“Роман 'Жанета' - самое печальное, самое тоскливое произведение Куприна, старого, больного, захиревшего вдали от горячо любимой родины”⁴²

2.3.2 *Yunkera*, romanzo autobiografico

Aleksandr Ivanovič Kuprin diventò uno scrittore rinomato in Russia nel corso del primo ventennio del 1900. La fama arrivò con il romanzo breve *Poedinok* (1905), tradotto in italiano con il titolo *Il duello*: un'analisi molto critica della vita dei soldati e della psicologia che vigeva nelle accademie militari. Il successo venne ulteriormente suggellato dalla pubblicazione del romanzo breve *Granatovyj braslet* (*Il braccialetto di granati*, 1911), una bellissima, seppur tragica, storia d'amore. Ugualmente celebre diventò il romanzo breve *Jama*

40. A. A. Volkov, *Tvorčestvo A. I. Kuprina*, cap.6, pp. 415: “Lo scrittore dà vita ad un'atmosfera di solitudine attorno a Simonov. [. . .] Il professore non nutre affatto avversione nei confronti degli uomini, non li disprezza, semplicemente è escluso a tal punto dal cerchio della vita, che vive in una quarta dimensione, sconosciuta agli uomini tra i quali si trova allo stesso modo in cui a lui è estranea la loro vita, o meglio, allo stesso in modo in cui questa è inaccessibile al suo io interiore.”

41. A. A. Volkov, *Tvorčestvo A. I. Kuprina*, cap.6, pp. 414: “Žaneta” è la chiara dimostrazione che soltanto le cose scritte con il cuore possono raggiungere l'apice della bellezza e della verità.”

42. *Ibidem*, pp. 419 “Il romanzo breve “Žaneta” è l'opera più triste e malinconica di Kuprin, vecchio, malato, e sofferente lontano dalla patria che amava con tanta passione.”

(*La Fossa*, 1914), in cui Kuprin descrisse la triste realtà delle case chiuse, dove giovanissime ragazzine si trovano costrette a prestare servizio per non morire di fame.

Tuttavia, nel periodo trascorso a Parigi, Kuprin vide rallentare la sua creatività, e anche la produzione di romanzi subì una brusca battuta d'arresto. L'unico che riuscì a pubblicare con discreto successo fu *Yunkera*, che diede alla luce nel 1932, quando già la salute iniziava a creargli seri problemi.

L'idea della stesura di *Yunkera* gli era venuta ancora nel 1911: doveva essere la continuazione del racconto *Na perelome*, conosciuto anche con il titolo *Kadety* (*I cadetti*, 1900). Solo a partire dal 1928 però il romanzo iniziò a comparire, diviso in capitoli, nella rivista *Vozroždenie*: questa modalità continuò per ben quattro anni, dal 1928 al 1932, e poi finalmente *Yunkera* uscì in edizione unica nel 1933.

La caratteristica principale dell'opera è sicuramente costituita dall'elevato numero di elementi autobiografici: Kuprin stesso aveva svolto l'iter degli studi militari per fare carriera in questo campo, cercando in realtà di realizzare quello che era il sogno della madre di vederlo generale o comandante.

La struttura temporale dell'opera è molto vaga e confusa, forse a causa della sua originaria pubblicazione a puntate, e spesso una medesima cosa viene ripetuta due o più volte: ma ciò non sembra preoccupare l'autore, che non elimina questi "doppioni". I due capitoli iniziali sono dedicati al primo anno della vita di Aleksandrov, il protagonista, all'interno dell'istituto militare Aleksandr II. La narrazione appare lenta, e viene dato molto spazio ai dettagli. Tale accuratezza però viene a mancare nel terzo capitolo, molto scarno e scritto con visibile difficoltà. Anche i disordini narrativi sono frequenti: della bellissima relazione tra l'eroe e Žinočka ad un certo punto non si parla più, come se fosse svanita tra le pagine del libro, ma al suo posto spuntano altre storie d'amore.

“Купринский герой постоянно испытывает потребность кого-нибудь любить: его разбужденное сердце уже не может жить без любви. [...] Влюбляется он “с такой же наивной простотой и радостью, с какой растут травы и распускаются почки” (VIII, 359-360). [...] Все его многочисленные любви кратковременны. [...] В чередовании и частой смене “предметов” его любви своеобразно и полно раскрывался индивидуальный характер юнкера Александра – человека пылкой мечтательности, горячих эмоций, впечатлительного, бурного в проявлении чувств.”⁴³

43. F. I. Kulešov, *Tvorčeskij put' Kuprina*, pp. 234-235: “L'eroe kupriniano sente continuamente il bisogno di amare qualcuno: il suo cuore sempre attivo non può vivere senza amore.

Kuprin incarna in Aleksandrov il suo amore per la poesia, per le arti figurative, la sua tendenza a basare le decisioni sulle emozioni. Aleksandrov coglie il bello della vita e dell'arte in maniera ingenua, con la spontaneità di un bambino. Gli manca però l'operosità e la determinazione negli affari più seri, ed è appassionato di cose alquanto futili, il circo per esempio. Nelle descrizioni fisiche del protagonista aumentano ancora gli elementi che lo accomunano con l'autore: il suo corpo è forte e tonico:

“В Александрове все время подчеркивается сильный и ловкий спортсмен, отличный и неутомимый танцор и превосходный образцовый строевик. О своем герое Куприн говорит: “Он наслаждался спокойной военной жизнью, [...] прекрасной пищей, успехами у бабышень и всеми радостями сильного мускулистого молодого тела” (VIII, 304).⁴⁴

Ama partecipare alle serate di gala e passare il tempo a giocare a carte con gli amici, e la descrizione di questi momenti è così precisa che rallenta il ritmo della narrazione.

“Несравненно большее значение в жизни героя “Юнкеров” имели увеселительные поездки на званые вечера, светские балы, танцы с воспитанницами женского Екатерининского института. [...] Эти подробности сами по себе красочны, нарисованы с очень большим живописным мастерством. Однако они замедляют течение рассказа. Здесь чувствуется авторское любование праздничной, светлой и легкой жизнью беззаботных и по-своему счастливых, довольных людей [...]”⁴⁵

[...] Egli si innamora con la stessa ingenua semplicità e felicità, con la quale cresce l'erba e si dischiudono i germogli. [...] Tutti questi amori hanno breve durata. [...] Nell'alternanza e nel cambio frequente dei soggetti del suo amore, si dischiude in maniera originale e completa il carattere individualista del cadetto Aleksandrov, uomo di appassionata fantasia, ferventi emozioni, suscettibile ed impulsivo nella manifestazione delle proprie emozioni.”

44. *Ibidem*, pp. 238: “In Aleksandrov viene messa in evidenza la figura dello sportivo forte e intelligente, del ballerino bravo ed instancabile e del soldato modello. Sul suo eroe Kuprin dice: “Si godeva la tranquilla vita militare, [...] l'ottimo cibo, i successi con le donne, e tutte le gioie di un giovane corpo muscoloso.”

45. *Ibidem*, pp. 237: “Un significato assai più grande avevano nella vita dell'eroe di Yunkera i piacevoli viaggi verso le serate a tema, i balli mondani, le danze con le allieve dell'istituto femminile Ekaterininskij. [...] Questi dettagli erano di per sé molto belli, descritti con grande abilità pittorica. Tuttavia rallentavano l'avanzare del racconto. Qui si percepisce la passione dell'autore per la vita festosa, leggera e mondana delle persone spensierate, a loro modo felici e soddisfatte [...]”

Non bisogna tuttavia credere che i soldati si divertissero e basta, anzi: la grande quantità di lezioni teoriche e le dure esercitazioni fisiche non lasciavano tempo libero ai giovani uomini, e spesso nel corso del romanzo il protagonista non perde l'occasione di lamentarsi.

“у юнкеров каждый день был 'сплошь туго загроможден' воинскими обязанностями и учением, и свободными для души и тела оставались 'лишь два часа в сутки', в течение которых 'юнкер мог передвигаться, куда хочет, и делать, что хочет во внутренних пределах' училищного здания (VIII, 304)”.⁴⁶

In generale *Yunkera*, diversamente da *Poedinok*, non si presenta come una severa critica alla realtà militare: anche il rapporto tra superiori e soldati semplici era molto pacifico e caratterizzato dal rispetto reciproco. Non c'è né violenza, né tanto meno traccia di differenze basate sulla posizione sociale. Estremamente spiccato nel romanzo risulta invece lo spirito patriottico degli ufficiali: sono pieni d'orgoglio per il loro istituto militare e venerano lo zar e la monarchia in maniera incondizionata e piuttosto ingenua. Non si chiedevano se questa loro ammirazione fosse giusta o meno, poiché di fatto non si facevano domande di carattere sociale e politico. Essi miravano a difendere la patria, e questa per loro era la massima aspirazione nella vita. Esempio è la descrizione dell'attimo in cui l'eroe dell'opera scorge non molto lontano da lui la figura dello zar: il suo cuore inizia a battere fortissimo, e la sua anima si accende di un fuoco interno. Questo tratto di Aleksandrov tuttavia non lo accomuna a Kuprin, che continuava a mantenere la sua posizione neutra in campo politico. La Russia che Aleksandr Ivanovič mette in campo riflette il vecchio impero, il vecchio sistema politico e giuridico, ed è inevitabile che si ottenga come risultato un paese idealizzato: Kuprin non riusciva ad accettare ciò che stava accadendo in patria, e sembra volersi attaccare al passato, per fuggire il presente.

2.3.3 Le collaborazioni con la stampa

Kuprin continuò per tutto il periodo dell'emigrazione a pubblicare articoli, saggi, racconti e romanzi all'interno di diverse riviste parigine, che erano state fondate dagli emigrati russi, fuggiti come lui dalla patria.

46. F. I. Kulešov, *Tvorčeskij put' Kuprina*, pp. 239: “i cadetti ogni giorno erano “pesantemente caricati” di doveri militari e lezioni teoriche, e per l'anima e il corpo restavano libere “soltanto due ore al giorno”, nel corso delle quali “il cadetto poteva andare dove voleva e fare ciò che desiderava all'interno dei confini dell'istituto militare. (VIII, 304).”

Già a partire dal gennaio del 1920, trovandosi a Helsinki assieme alla famiglia, collaborò con il giornale *Novaja russkaja žizn'*, che sotto la guida di Y. A. Grikorkov venne dato alla stampa dal 1919 al 1921. È qui che Aleksandr Ivanovič pubblicò articoli e poesie, firmandoli molto spesso con lo pseudonimo *Ali-Chan*. A febbraio e poi a marzo uscirono rispettivamente i componimenti poetici intitolati *Vesna* e *Aeroplan*, ma non mancarono gli articoli, tra cui si ricordano *Proletarskaja poesija* e *Slovo-Zakon*. In questo secondo scritto Kuprin riassunse una storia che aveva sentito diverso tempo prima, il cui protagonista, un pittore russo che viveva in Spagna perché ammiratore appassionato di questo paese, venne ingiustamente condannato per frode e mandato in carcere.

“Давным-давно слышал я один рассказ, который как-то особенно тепло отпечатлелся в моем сердце.”⁴⁷

L'uomo tuttavia venne salvato da una ragazza gitana, sua amica, che aveva chiesto l'aiuto di un console inglese, disposto ad aiutare le persone nelle cause più improbabili.

“Кто-то, вероятно просто наобум, посоветовал этой славной женщине обратиться к английскому консулу, которого, конечно, ни с какой стороны не могло касаться злоключение русского художника. “Поговорите с ним по сердцу, - сказал этот человек. - Если он для вас ничего не сделает, то вашему другу не поможет и Бог.”⁴⁸

Sempre in *Novaja russkaja žizn'*, Kuprin pubblicò l'interessante articolo *Ko-rolevskije štany*, una critica nei confronti dei bolscevichi, la cui politica venne paragonata all'inesistenza della divisa regale del racconto *I vestiti nuovi dell'imperatore*, di Andersen⁴⁹.

47. A. Kuprin, *Chronika sobytij glazami belogo oficera, pisatelja, žurnalista*, Sobranie, Mosca, 2006, pp. 142 : “Molto tempo fa udii una storia che in maniera estremamente forte si è impressa nel mio cuore”

48. *Ibidem*, pp. 143: “Qualcuno, una persona completamente a caso, suggerì a questa piacevole donna di rivolgersi al console inglese, che, ovviamente, non non avrebbe potuto c'entrare con la disgrazia del pittore russo. “Se egli non farà nulla per voi, allora il vostro amico non lo potrebbe aiutare neanche Dio”.

49. Si racconta di un imperatore estremamente vanitoso, che curava al dettaglio il suo aspetto esteriore, ed in particolare il suo abbigliamento. Un giorno due imbroglioni, fingendosi abilissimi tessitori, si offrirono di cucire un abito leggero e meraviglioso, con la particolarità di risultare invisibile agli stolti e agli indegni. Quando venne presentato all'imperatore, egli fece finta di apprezzarlo moltissimo, e volle usarlo per sfilare in città. Solo un bambino riuscì a spezzare l'”incantesimo”, esclamando pieno di innocenza: “Il re è nudo!”

“А разве большевики не похожи на андерсеновских портных, [...] которые кроят, шьют и утюжат воображаемый роскошный костюм из воображаемого материала.”⁵⁰

Una volta giunto a Parigi, cessò quasi completamente la collaborazione con *Novaja russkaja žizn'*, e cominciò quella con il periodico parigino *Obščee delo*, attivo dal 1918 al 1920 come settimanale e dal 1920 al 1922 come giornale. A partire da novembre 1928, fino a marzo 1934, uscirono poi altri numeri in maniera assai irregolare: a volte uno all'anno, a volte due, fino ad arrivare ad un massimo di cinque.

Per *Obščee delo*, giornale dichiaratamente anti-sovietico (его окружали настроенные против советской власти политиканы [...]); в газете печатались провокационные слухи [...])⁵¹, il cui capo redattore era il celebre Vladimir Burcev, Kuprin scrisse diversi articoli, tra cui *Vnutri Rossii* a luglio, e *Dva putešestvennika* ad ottobre. Nel primo Aleksandr Ivanovič rispose alle domande che molte volte gli erano state poste a Parigi riguardo la situazione politica russa:

“Я рад поделиться всем, что знаю, но предупреждаю, что иду ощупью, путем осторожного выбора и сличения того пестрого материала, который остался у меня в памяти от рассказов недавних беженцев, от неофициальных докладов специальных наблюдателей, а главное – из многочисленных писем, доходивших из Совдепии окружными, сложными, рискованными дорогами и притом написанных так, что их приходилось читать между строк.”⁵²

Egli, pur dimostrando la sua avversione nei confronti del nuovo governo, non mancò di mettere in luce gli aspetti positivi del comunismo, come l'attenzione nei confronti della cultura, della classe intellettuale, delle innovazioni tecnologiche (ad esempio l'introduzione dell'illuminazione elettrica nei centri abitati

50. A. Kuprin, *Chronika sobytij glazami belogo oficera, pisatelja, žurnalista*, pp. 140 : “E non sono forse i bolscevichi simili ai sarti di Andersen che creano, cuciono e stirano un lussuoso vestito immaginario, fatto di materiale altrettanto immaginario?”

51. K. A. Kuprina, *Moj otec*, cap. 20, pp. 152: “lo (il giornale) circondavano politici di fazione anti-sovietica [...]; nel giornale venivano pubblicate notizie provocatorie [...]”

52. A. Kuprin, *Chronika sobytij glazami belogo oficera, pisatelja, žurnalista*, pp. 222: “Sono felice di condividere tutto ciò che so, ma avverto che mi muoverò con cautela, scegliendo attentamente e confrontando il pericoloso materiale che si è conservato nella mia memoria dai racconti dei recenti rifugiati, dai rapporti non ufficiali degli osservatori speciali, e soprattutto dal grande numero di lettere, uscite dalla Russia attraverso strade tortuose, complesse e rischiose e per questo scritte in modo tale che le si possa leggere tra le righe.”

più sviluppati).

Nel secondo invece trattò la figura di Fridtjof Nansen, esploratore, scienziato e politico norvegese, vincitore nel 1922 del Premio Nobel per la Pace, e quella di Herbert George Wells, scrittore inglese, autore di meravigliose opere di fantascienza, considerate colonne portanti di questo genere, come *La macchina del tempo* (*The Time Machine*, 1895), *L'uomo invisibile* (*The Invisible Man*, 1897) e *La guerra dei mondi* (*The War of the Worlds*, 1897).

Anche la cooperazione con *Obščee delo* non durò a lungo, e nel febbraio del 1921 Kuprin accolse l'incarico di caporedattore della rivista di arte e letteratura *Otečestvo*, caratterizzata dall'assenza di espressa posizione politica. Fu in *Otečestvo* che all'inizio di marzo pubblicò il racconto *Pesik-černyj nosik*; ma comandare una troupe di giornalisti non gli piaceva proprio:

“Редакционная деятельность совсем не была в характере Александра Ивановича. Каждодневное корпение над чужим рукописями, необходимость отказывать бездарным писакам с молящими глазами, быть посредником между разгневанными писателями и бесчестными хозяевами – все это отец терпел ради твердого заработка [...]”⁵³

E fu così che il 10 luglio arrivò la notizia delle dimissioni dello scrittore dal ruolo che aveva cominciato a ricoprire solo poco tempo prima. Quello stesso mese uscì uno dei suoi ultimi articoli scritti per *Novaja russkaja žizn'*, intitolato *Russkie v Pariže*, dove espose alcuni aspetti della vita dei russi emigrati in Francia, oltre a quelli dei parigini stessi:

“Нигде газеты не расходятся в таком громадном количестве и не читаются с таким рвением, как в Париже. [...] От министра до каменщика, до кондуктора из метро – каждый парижанин покупает утром 'свою газету'. [...] Очень живо интересуются трагической судьбою царя и царской семьи. Говорят об этом с осуждением и брезгливостью. [...] Жизнь [...] дорога, и квартирный кризис еще стоит во своей остроте. [...] Кто-то высказал мне по этому поводу соображение: “Но ведь русские все-таки дают городу торговать”⁵⁴

53. K. A. Kuprina, *Moj otec*, cap. 20, pp. 150: “L'attività di redattore non faceva proprio per Aleksandr Ivanovič. Il quotidiano arrancare sui manoscritti altrui, l'obbligo di rifiutare con occhi supplichevoli incapaci scribacchini, l'essere mediatore tra scrittori arrabbiati e capi disonesti: tutto ciò mio padre lo sopportava per via del consistente guadagno [...]”

54. A. Kuprin, *Chronika sobytij glazami belogo oficera, pisatelja, žurnalista*, pp. 276: “Da nessuna parte i giornali si diffondono in così grande quantità e si leggono con così tanta

A partire dal 1925 Kuprin intervenne attivamente nella rivista letteraria *Iljustrirovannaja Rossija* (*La Russie Illustrée*), pubblicata dal 1924 al 1939. Per un breve arco di tempo il periodico uscì una volta ogni due settimane, mentre dal mese di gennaio del 1926 divenne un normale settimanale.

Iljustrirovannaja Rossija fu fondata da Miron Mironov, che ne fu il caporedattore fino al 1931, anno in cui fu costretto a dimettersi per gravi problemi di salute.

A questa rivista collaborarono i principali scrittori russi emigrati a Parigi, tra cui Bunin, Gippius, Zajcev, Merežkovskij, Šmelev, ed ovviamente, Kuprin. Fu qui che Aleksandr Ivanovič pubblicò i saggi *Pariž i Moskva* (1925), *Pariž domašnjij* (1927), *Korol'-demokrat i geroj* (1931), molti racconti come *Bolšoj Fontan* (1927), *Noč' v Blagoveščen'e* (1929), *Nataša* (1932), *Ral'f* (1933), delle poesie, come *Moj portret* (1930), e diversi articoli, tra cui *O Čechove* (1929) e *Il'ja Repin* (1931). Quest'ultimo lo compose in ricordo del pittore, ad un anno dalla sua morte (26 settembre 1930); i due erano amici intimi e la loro corrispondenza fu molto fitta per tutti gli anni in cui Kuprin si trovava in Francia:

“Бо́лее чем половину столетия Репин был славой России и гордостью живописного искусства. Еще до сих пор мы, в изгнании и в рассеянии сущие, говоря о нашем незабвенном прекрасном доме, упоминаем со вздохом и во множественных числах: «Да. У нас были Пушкины, Толстые, Репины, Глинки, Чайковские. Какое богатство! Весь мир произносит их имена с благоговением!»

[...] Но теперь уже можно со спокойной уверенностью сказать, что имя и творчество Репина переживут столетия, и сам Репин останется великим, непревосходимым учителем до той поры, до которой живут полотно и краски.”⁵⁵

impazienza come a Parigi. [...] Dal ministro al muratore, all'autista della metro, ogni parigino compra alla mattina il “suo giornale”. Sono (i francese) molto interessati al tragico destino dello zar e della famiglia imperiale. Ne parlano con disprezzo e disgusto. La vita [...] è cara e la crisi degli appartamenti è ancora nel suo punto più alto. [...] Qualcuno a riguardo mi ha fatto questa osservazione: “I russi comunque fanno girare l'economia della città”.”

55. A. I. Kuprin, *Il'ja Repin (K godovščine so dnja smerti)*: “Per più di mezzo secolo Repin è stato la gloria della Russia e l'orgoglio della pittura. Ancora adesso noi, esiliati e dispersi, quando parliamo della nostra indimenticabile e bellissima patria, menzioniamo facendo un sospiro ed iniziando un lungo elenco: “Già, abbiamo avuto personalità come Puškin, Tolstoj, Repin, Glinka, Čajkovskj. Che ricchezza! Tutto il mondo pronuncia i loro nomi con reverenza!”. [...] Ma ora si può già dire con certezza che il nome e le opere di Repin sopravviveranno nei secoli, e lo stesso Repin continuerà ad essere un maestro eccellente ed

Dopo Mironov, alla guida di *Illjustrirovannaja Rossija* arrivò proprio Kuprin, nel 1931. Anche questa volta però l'incarico non durò a lungo, e a luglio dell'anno successivo si dimise, a causa di alcune complicazioni fisiche date dall'età: gli occhi in particolare gli creavano molti problemi, e leggere era diventato sempre più difficile.

In prima linea, tra i giornali con cui Aleksandr Ivanovič lavorò maggiormente, ci fu anche *Vozroždenie*, la cui pubblicazione iniziata nel 1925 terminò nel 1940. Per i primi undici anni *Vozroždenie* continuò ad uscire quotidianamente, mentre dal 1936 al 1940 la produzione si limitò ad un numero nuovo alla settimana. Il giornale fu sotto la guida di Peter Struve per i primi due anni, e poi sotto quella di Jurij Semenov, dal 1927, al 1940. Struve, pur avendo iniziato la carriera politica come pensatore marxista, appoggiò nel corso degli anni la corrente liberale, fino a che non diventò un membro del Movimento dei Menscevichi dopo la Rivoluzione d'Ottobre. Mentre svolgeva il suo incarico di caporedattore, mantenne le sue preferenze conservatrici, e ovviamente le fece confluire in *Vozroždenie*. A Kuprin non interessava l'inclinazione politica dei giornali; lui vi collaborava solo per fini economici, ma venne talvolta criticato: ecco cosa si legge nella corrispondenza con l'amico Aleksandr Amfiteatrov (lettera del 22 novembre 1926):

“Что Вы поделяваете, что и где пишете? [...] сейчас, правду сказать, даже не знаю, издается ли еще в “Р. Вр.”? А в других газетах Вас не видать. Ах, и не говорите мне о “Возрождении”! Более бездарного ведения газеты при больших возможностях успеха я не запомню.”⁵⁶

In *Vozroždenie* pubblicò per lo più racconti tra cui *Zvernij urok* (*La lezione degli animali*, 1927), *Saška i Jaška* (1927), *Inna* (1928), *Ten' imperatora* (*L'ombra dell'imperatore*, 1928), *Ol'ga Sur* (1929), *Poterjannoe serdce* (*Cuore perso*, 1932), *Barri* (1931), *Noč' v lesu* (*Una notte nel bosco*, 1931), *Sistema* (1932), *Gemma* (1932), *Val'dšnepy* (*Le beccacce*, 1933), *Nočnaja fialka* (1933), *Svetlana* (1934), e molti altri. Uscirono a puntante il famoso romanzo *Yunkera* e il racconto lungo *Koleso Vremeni* (*La ruota del tempo*, 1929), alcuni saggi, come *Pariž domašnjij* (*Parigi domestica*, 1927) *Pariž intimnyj* (*Parigi intima*,

insuperabile fino a quando continueranno ad esistere la tela e i colori”

56. K. A. Kuprina, *Moj otec*, cap. 20, pp. 155: “Di cosa vi state occupando? Cosa e dove scrivete? Ora, a dire la verità, non so neanche se *Russkoe vremja* viene ancora pubblicato. Tuttavia non vi si vede in altro giornali. Ah, e non mi parlate di *Vozroždenie*! Non mi viene in mente una direzione di giornale più incompetente riguardo grandi opportunità di successo”.

1930), *Ljudi-pticy* (*Uomini-uccelli*, 1930) e un paio di articoli.

Tra le riviste che restano da annoverare troviamo ancora *Zelenaja Paločka*, *Sovremennye zapiski*, *Segodnja* e *Perezvony*: rispetto alla precedenti, Kuprin collaborò con queste in misura assai minore durante tutto l'arco del periodo parigino.

Zelenaja Paločka, (*La baguette verte*) attiva soltanto dal 1920 al 1921 sotto la direzione di Aminodav Špoljanskij, conosciuto come Don-Aminado, era una rivista illustrata per bambini che usciva due volte al mese. Qui Kuprin pubblicò le versioni rivisitate dei racconti *Kozlinaja Žizn'* (1920) e *Sapsan* (1921), che avevano come protagonisti gli animali, ed erano per questo adatti ad un pubblico di lettori molto molto giovane.

Sovremennye zapiski venne invece fondato nel 1920 da un gruppo di sostenitori del Partito Socialista, e mantenne per tutto l'arco della sua esistenza (1920-1940) una palese inclinazione politica. Alla sua guida si susseguirono grandi leader come Nikolaj Avksent'ev, Il'ja Fondaminskij, conosciuto con lo pseudonimo Bunakov, Aleksandr Gukovskij e Vadim Rudnev. Kuprin vide pubblicato a puntate in *Sovremennye zapiski* uno dei romanzi che ebbe più successo in assoluto mentre si trovava lontano dalla patria, ossia *Žaneta* (1933).

Segodnja e *Perezvony* invece, che erano giornali russi liberal-democratici, vennero pubblicati in Lettonia, a Riga. Il primo cominciò la sua attività nel 1919, terminandola nel 1940, quando le autorità sovietiche occuparono il paese e costrinsero la direzione del giornale a chiudere i battenti. Era il quotidiano scritto in lingua russa più attivo e conosciuto nelle tre repubbliche baltiche, e vantava la collaborazione di molti corrispondenti stranieri: fu così che divenne popolare tra gli emigrati russi. Kuprin vi pubblicò qualche articolo e racconto, tra cui *Tipografskaja kraska* (1929) e *Sud'ba* (1937).

In *Perezvony*, settimanale di letteratura attivo dal 1925 al 1929 sotto la guida di Sergej Belocvetov (fratello del ricchissimo imprenditore e attivista Nikolaj Belocvetov), di Aleksandr Ivanovič comparve invece soltanto il racconto *Puncovaja krov'*: la pubblicazione di quest'opera, avviata nel numero di gennaio del 1926, terminò in quello di febbraio dello stesso anno.

2.4 Le corrispondenze e gli amici più cari

Durante il periodo passato a Parigi, Kuprin ebbe modo di stringere molte amicizie, alcune delle quali non lo abbandonarono mai, e lo sostennero durante questi anni così amari. Il rapporto più costante e intenso di tutti fu probabilmente quello con il pittore Il'ja Repin: i due si conobbero all'inizio del XX secolo, e la stima che provarono l'uno per l'altro caratterizzò fin da subito

il loro affiatamento. Scrisse Repin a Vladimir Stasov nel 1905, dopo aver finito di leggere *Il duello*:

“Замечательное произведение. Я давно уже ничего с таким интересом не читал. С громадным талантом, смыслом и знанием среды – кровью сердца – написана вещь.”⁵⁷

Fu in quell'anno che Kuprin iniziò ad andare regolarmente a Kuokkala, oggi conosciuta come Repino, in onore del pittore appunto, vicino a San Pietroburgo, dove Il'ja Efimovič aveva una grande tenuta. Pur essendo un territorio di proprietà del governo finlandese (fino al 1944), per Kuprin risultò molto difficile ottenere ogni volta il permesso per fare visita all'amico.

“Как Куприн расстался с Россией, живя в Хельсинки (Финляндия), он делает попытки добраться до Куокалла, где жил И. Е. Репин, у границы с Россией, чтобы хоть оттуда “подышать теплом родины”. [...] Однако финляндская администрация, может быть, подзревая этот умысел, не давала разрешения на поездку. Судя по его письмам к И. Е. Репину.”⁵⁸

La comunicazione fra i due amici si arrestò quando Aleksandr Ivanovič si trasferì a Parigi, ma questa interruzione durò appena quattro anni, per poi riprendere regolare e affettuosa.

“После приезда Куприна в Париж переписка между ним и Репиным прекратилась почти на четыре года. Вероятно, были тому причиной переезд в Париж, всевозможные трудности на новом месте, неустроенность. Но Александр Иванович продолжал посылать Репину свои книги и статьи в газетах. С 1924 года переписка возобновилась.”⁵⁹

57. O. Michajlov, *Kuprin*, cap.9, pp. 253: “Meravigliosa opera. Era già da molto che non leggevo qualcosa con così tanto interesse. Ciò è scritto con immenso talento, senso, e conoscenza di ciò che ci circonda, è scritto con il cuore.

58. N. Veržbickij, *Vstreči s Kuprinym*, pp. 145: “Non appena Kuprin si separò dalla Russia, vivendo ad Helsinki (Finlandia), faceva dei tentativi per raggiungere Kuokalla, dove viveva I. E. Repin, al confine con la Russia, affinché “respirasse da qui il calore della patria”. Tuttavia l'amministrazione finlandese, conoscendo, forse, questo suo intento, non gli dava il permesso per partire. Secondo quando dicono le lettere inviate a I. E. Repin.”

59. K. A. Kuprina, *Kuprin - moj otec*, cap. 24, pp. 179: “Dopo l'arrivo di Kuprin a Parigi la corrispondenza tra lui e Repin si interruppe per quattro anni. In realtà, il trasferimento a Parigi, le possibili difficoltà che si incontrano in un posto nuovo e il disordine furono la causa di ciò. Ma Aleksandr Ivanovič continuò a mandare a Repin i suoi libri e i suoi articoli che comparivano nelle giornali. A partire dal 1924, la corrispondenza riprese”

In ogni lettera che Kuprin scrisse a Repin non mancò di lamentarsi della sua vita da emigrato e delle sue penose condizioni economiche. E così, nella lettera del 6 agosto 1924, che segna la ripresa del loro carteggio, si legge:

“Во Франции тоже есть, как диковинка, пять-шесть экземпляров берез, но – увы! – они не пахнут, даже если растереть их зазубренный листик в пальцах и поднести к носу. [...] Эмигрантская жизнь вконец изжевала меня, а отдаленность от Родины приплюснула мой дух к земле. [...] Я теперь надолго-надолго осужден странствовать, подобно Вечному Жиду, по чужим странам и городам, с паспортом в кармане и с чемоданчиком в руках.”⁶⁰

In questa stessa epistola Kuprin chiese all'amico di mandargli uno dei suoi schizzi, per poterlo mettere sopra la scrivania e averlo così sempre sotto gli occhi, a ricordargli il suo talento e il loro reciproco stimarsi. Ma Repin non rispose immediatamente alla lettera, e così Aleksandr Ivanovič iniziò a temere che si fosse offeso:

“Я Вам долго не писал, считал, что я мнителен. Мне показалось, что Вам стало неприятно, когда я принялся клянчить у Вас какойнибудь этюдик. Сколько людей, – подумал я, – к Вам с этим приставало!..”⁶¹

Tuttavia, datata 24 agosto 1924, arrivò finalmente la replica di Il'ja Efimovič, il quale tranquillizzò l'amico, dicendo che non se l'era presa, e che anzi aveva già mandato lo schizzo di “Lešij” a Zeeler, che poi avrebbe dovuto recapitarlo a Kuprin. Presto dunque Aleksandr Ivanovič avrebbe avuto il suo dono:

“А я ведь, давненко уже, послал на имя Зеелера (rue de Prony, 33) один эскиз “Лешего” и надписал на нем Ваше имя. [...] Но может

60. К. А. Kuprina, *Kuprin - moj otec*, pp. 179: “Anche in Francia ci sono, considerate una rarità, cinque-sei esemplari di betulla, ma, ahime!, non sanno profumo, anche se spezzetti tra le dita le loro foglie seghettate e le avvicini al naso. [...] La vita d'emigrazione mi ha completamente rovinato, e la lontananza dalla patria ha appiattito la mia anima a terra. [...] Ora per lungo tempo sono condannato a vagare, come un ebreo, per paesi stranieri e città, con il passaporto in tasca e la valigia in mano.”

61. *Ibidem*, cap. 24, pp. 180: “Non vi ho scritto per molto tempo, credendo di essere molto valetudinario. Mi è sembrato che vi siate offeso quando vi ho chiesto di mandarmi uno dei vostri schizzi. Quante persone, ho pensato, vi importunano con questa richiesta”.

быть, Вы его, Зеелера, не знаете? А он, страстный любитель живописи...[...] Зеелер очень аккуратный и корректный джентльмен. А может быть, он в отъезде.”⁶²

Lo scambio di opere comunque era reciproco, e il pittore riceveva sempre nuovi libri:

“Пожалуйста, напишите мне, получили ли Вы [...] две мои книжки, изданные в Париже: “Гамбринус” и “Суламифь”? Помню, что послал, но одну ли, две ли – отшибло. И послал ли третью, изданную в Гельсингфорсе, “Звезда Соломона” [...]?”⁶³

Ma il prezioso regalo di Repin, non restò per molto nelle mani di Aleksandr Ivanovič : dal momento che la figlia Ksenia si era ammalata, e necessitava di essere curata in una clinica a Leysin, in Svizzera, ai Kuprin servivano molti soldi, di cui non disponevano assolutamente. E così, l'unica soluzione possibile per raccogliere denaro, oltre all'organizzazione di serate letterarie dove c'era da sperare nella buona riuscita dell'evento, era la vendita all'asta dei loro beni più preziosi, tra i quali rientrava anche “Lešij”. Scrive Kuprin a Il'ja Efimovič nel mese di marzo 1925:

“Но еще с мая захворала моя дочка перитонитом. Пришлось ее отправить в Leysin (Suisse) в санаторий д-ра Rollier. Там она и до сих пор. Горный воздух и горное солнце пошли ей на пользу. Но мы не соизмерили валютной разницы [...] и сели на кол. Теперь мне и жене пришла в голову мысль: устроить лотерею, куда я загнал все, что у меня было ценного. Туда я загнал и 'Лешего’”.⁶⁴

Seguono in questa epistola le scuse che il romanziere si sente di fare all'amico, poiché vendere un prezioso regalo per riassetare le proprie finanze gli sembrava

62. K. A. Kuprina, *Kuprin - moj otec*, pp.180: “Eppure io, già da un bel pezzo, ho inviato a nome di Zeeler uno schizzo di “Lešij”, e vi ho scritto sopra il vostro nome. Ma, forse, voi, Zeeler, non lo conoscete? È un vero appassionato di pittura... [...] Zeeler è un signore composto e a modo. Può essere che sia via”.

63. *Ibidem*, cap. 24, pp.182: “Scrivetemi, per piacere, se avete ricevuto i miei due libri pubblicati a Parigi “Gambrinus” e “Sulamif’”. Mi ricordo di averli inviati, ma non so se solo uno o tutti e due. E vi ho mandato la terza raccolta, uscita ad Helsinki, “Svezda Solomona”?”

64. *Ibidem*, pp.188: “Ancora a maggio mia figlia si ammalò di peritonite. Ci toccò mandarla a Lesyin (Svizzera), alla clinica del dott. Rollier. Tutt'ora si trova lì. L'aria e il sole di montagna le hanno fatto bene. Ma non avevamo considerato il cambio valuta e ci siamo messi a fare due conti. Ora a me e a mia moglie è venuta un'idea: organizzare una lotteria, dove metto in gioco tutto ciò che ho di prezioso. Compreso Lešij.

un comportamento poco amichevole. Ma Repin dimostrò ancora una volta la sua bontà d'animo e la sua disponibilità nell'aiutare:

“Неужели мой бедный рисунок мог быть так полезен Вам и в – такую минуту? Вот радость... Горячо расцеловал бы Вас я за это, что Вы пустили “Лешего” в оборот и он не провалился, и за эту радость [...]”⁶⁵

Il disegno venne venduto e fruttò alla famiglia Kuprin circa diecimila franchi. Per tutta la vita Aleksandr fu grato a Repin del grande aiuto che gli aveva dato:

“ ‘Леший’ попал в хорошие руки: в милую, теплую просвещенную семью, где без хвастовства или снобизма ценят и чтут искусство и где глубоко любят Вас [...]”⁶⁶

Ciò che rendeva così unito il loro rapporto era comunque la lontananza dalla patria, e la profonda tristezza che provavano vivendo da emigrati. Inoltre, sono molte le lettere dove è possibile leggere la sofferenza data dalla vecchiaia che avanzava per entrambi. Scrisse Repin alla fine di dicembre 1926:

“О, сколько мы угнетены здесь Зимой! Снега, морозы!.. Сегодня уже все наши окрестные говорят, что лета не будет в продолжение трех лет – будет непрерывная зима!! Я не перестаю жалеть о старом стиле...[...] Простите за это глупое письмо: жалобы, жалобы на природу и людей... Неверно!.. Несправедливо!..”⁶⁷

E gli rispose Kuprin:

65. K. A. Kuprina, *Kuprin - moj otec*: “Davvero il mio misero disegno vi può essere così utile in questo momento? Ecco la felicità... Vi bacerei calorosamente per esservi liberato di Lešij usandolo come tornaconto, e per il fatto che questo non ha fallito nello scopo [...]”

66. *Ibidem*, pp.191: “ ‘Lešij’ è finito in buone mani: ad una famiglia gentile, illuminata, dove senza boria e senza snobismo adorano e apprezzano l'arte e dove vi adorano profondamente [...]”

67. *Ibidem*, cap. 24, pp.194: “Oh, come siamo oppressi qui dall'inverno! Dalla neve, dal gelo!.. Oggi tutte le persone del luogo dicono che non arriverà l'estate per i prossimi tre anni, sarà perennemente inverno... [...] Chiedo scusa per questa lettera cupa: mi continuo a lamentare riguardo alla natura e agli uomini... E' sbagliato!.. Non è giusto!”

“Проклинаю я парижскую зиму. Нет хуже зим на свете, чем здесь. Утром дождь, в полдень снег, к вечеру теплый весенний день, к ночи мороз и ураган. [...] Все парижане и эмигранты ходят с носами, разбухшими от насморка, чихают, кашляют, слезятся. [...] И как хочется настоящего снега, русского снега, плотного, розоватого, голубоватого, который по ночам фосфоресцирует, пахнет мощно озоном; снег, который так сладко есть, черпая прямо из чистейшего сугроба. А в лесу! Синие тени от деревьев, и следы, следы: русаки, беляки, лисички-сестрички, белки, мыши, птицы...”⁶⁸

Il supporto che si diedero vicendevolmente, seppur a distanza, fu tale che quando Repin morì il 29 settembre 1930, Kuprin ebbe bisogno di parecchio tempo per riprendersi. La perdita dell'amico, seguita comunque alla scomparsa di altri conoscenti più o meno cari, aggravò ulteriormente la sua tristezza. Nella sua ultima lettera, datata 17 giugno 1930, Il'ja Efimovič aveva scritto:

“Милый, дорогой мой поэт – Александр Иванович, я так осчастливлен Вашей поэмой... Дорогая Ваша любезность застаёт меня больным и не способным к этому роду искусства, который Вы сообразовали востребовать.

Увы, я позорно спрятался за могучего сына, и он великодушно заменяет меня... что делать? Я едва дышу и едва ноги таскаю.”⁶⁹

Un'altra figura centrale durante gli anni passati in Francia fu quella di Ivan Bunin, che però non sostenne Aleksandr con costanza, e lo aiutò effettivamente solo in un primissimo periodo. Lo assistette durante la sistemazione nel famoso quartiere di Passy, trovandogli un appartamento libero proprio nell'edificio in cui viveva lui. Ma le opinioni di Bunin e Kuprin divergevano in molti argomenti, e questo portò il loro rapporto a incrinarsi sempre di più, fino a quando

68. K. A. Kuprina, *Kuprin - moj otec*, pp.195: “Maledico l'inverno di Parigi. Non c'è inverno peggiore al mondo di questo qui. Di mattina piove, a mezzogiorno nevicata, verso sera il clima si fa primaverile, e di notte ci sono ghiaccio e tempeste. [...] Tutti i parigini e gli emigrati hanno il naso gonfio a causa del raffreddore, starnutiscono, tossiscono, lacrimano. [...] Quanto desidero la vera neve, la neve russa, densa, rosata, azzurrina, che di notte diventa fosforescente, e odora potentemente di ozono; la neve, che gocciola direttamente da un cumulo fresco e pulito, è così dolce da mangiare. Ah e nel bosco! Le ombre blu degli alberi, e impronte, impronte: lepri, conigli, volpi, scoiattoli, topi, uccelli...”

69. *Ibidem*, pp.197: “Mio caro, dolce poeta Aleksandr Ivanovič, mi ha così rallegrato il vostro poema... La vostra bontà mi coglie malato e non preparato a questo genere di arte, di cui avete deciso di prendervi cura. Ahimè, pieno di vergogna mi nascondo dietro mio figlio, e lui, pieno di forza, magnanimamente mi sostituisce... che fare? Riesco appena a respirare e a trascinare i piedi”

non svanì del tutto. La loro opinione sulla Russia, in particolare, divergeva moltissimo: Kuprin idealizzava la sua terra, mentre Bunin ne criticava diversi aspetti:

“В русском человеке в самом деле слишком много Азии, китайщины. Все в нас мрачно. И говорить о нашей светлой религии – ложь. Ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия. Вспомни эти черные образа, страшные руки, ноги... А стояние по восемь часов [...]”⁷⁰

Tuttavia quando Bunin venne a sapere della morte di Kuprin, si dispiacque moltissimo, e ricordò l’ultima volta che lo aveva visto per strada:

“... года три тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в две-три строчки, — такие крупные, дрожащие каракули и с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок... Все это и было причиной того, что за последние два года я не видел его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне бог — не в силах был видеть его в таком состоянии. Прошлым летом, проснувшись утром под Парижем в поезде, на обратном пути из Италии, и развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известием: «Александр Иванович Куприн возвратился в СССР...»

Никаких политических чувств по отношению к его «возвращению» я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россию, — его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.”⁷¹

70. O. Michajlov, *Kuprin*, cap.7, pp. 232: “Nell’uomo russo (infatti) c’è troppa Asia, troppa cineseria. Tutto in noi è misterioso. E parlando della nostra religione, ebbene, è una bugia. Non c’è niente di più oscuro, pauroso e severo della nostra religione. Pensa a quelle immagine cupe, a quelle mani spaventose, le gambe... E stare in piedi per otto ore.”

71. *Ibidem*, cap.10, pp.261: “... tre anni fa, arrivando da sud, mi imbattei in lui per strada e tra me e me sussultai: non era rimasta neanche una traccia del vecchio Kuprin! Camminava a passi piccoli e affannosi, e mentre si trascinava era così magro e debole che, sembrava, la

Grazie alle sue conoscenze all'interno della società parigina, Bunin fece conoscere a Kuprin molte personalità interessanti della realtà intellettuale russa in Francia, tra cui Ivan Šmelëv, che Aleksandr conobbe nell'autunno del 1923. I due si erano già visti in Russia nel primo decennio del 1900, ma non c'era tra loro molta affinità. Quando però si incontrarono lontano dalla patria si sentirono accomunati dalla nostalgia per la loro terra, e strinsero un sincero rapporto d'amicizia.

Nel 1923 Šmelëv apparve a Kuprin molto più vecchio di quello che effettivamente era, a causa delle terribili disgrazie che lo avevano colpito nel corso degli ultimi anni, tra cui la carestia e la morte di suo figlio:

“Небольшого роста, тонкий, худощавый, Шмелев выглядел гораздо старше своих пятидесяти лет. Глубокие складки-впадины избородили его лицо, на котором жили, кажется, одни большие серые глаза. [...] Он уже знал, что Шмелев пережил страшные голодные месяцы в Крыму и, как муку, как пожизненный крест, носил в душе свое горе: в Крыму в 1920 году трагически погиб его единственный и любимый неистовой, можно сказать, материнской любовью сын Сергей.

Ранее, в 1910-у годы, Шмелев никогда не был близок Куприну. Признавая неоспоримые достоинства его повестей и рассказов [...] Куприн не ощущал внутренней близости Шмелева-художника. Но теперь, во время короткого общения, он остро почувствовал ту душевную приязнь, которая неожиданно, в короткий миг сближает людей.”⁷²

prima folata di vento lo avrebbe sollevato, non mi riconobbe subito, poi mi abbracciò con una delicatezza così toccante, con una dolcezza così malinconica, che mi misi a piangere. Avevo ricevuto da lui una cartolina con su scritte due-tre righe: degli scarabocchi grandi, tremolanti e con degli spazi così ampi che era come se li avesse tracciati un bambino... Tutto ciò costituiva la causa per la quale negli ultimi due anni non lo avevo visto neanche una volta, e mai ero andato a fargli visita: chiedo perdono a dio: non avevo le forze di vederlo in queste condizioni.

L'estate scorsa, essendomi svegliato di mattina in treno nei pressi di Parigi, di ritorno dall'Italia, aperto il giornale che mi era stato dato dal capo vagone, fui assai colpito da una notizia per me inaspettata: “Aleksandr Ivanovič Kuprin è tornato in URSS...”

Ovviamente non feci nessuna considerazione di tipo politico riguardo al suo rimpatrio. Non era tornato in Russia, lo avevano portato, già molto malato, caduto in una fase di mancata autosufficienza. Io provai soltanto una grande tristezza al pensiero che non lo avrei più rivisto.”

72. O. Michajlov, *Kuprin*, cap.3, pp.235: “Di media statura, sottile, esile, Šmelëv sembrava molto più vecchio dei suoi cinquant'anni. Delle profonde rughe incavate solcavano il suo viso, nel quale sembrava fossero presenti soltanto i grandi occhi grigi. [...] (Kuprin) già sapeva che Šmelëv aveva attraversato i terribili mesi della carestia in Crimea e, come un'agonia,

Šmelëv cercò di trovare un po' di pace spostandosi dalla grande metropoli, e andando a vivere in Provenza: qui si trovò molto bene, dal momento che poteva dedicarsi alla coltivazione di fiori e ortaggi, e riassaporare la vita che conduceva in Russia. Fu molto soddisfatto venendo a sapere che *La Fossa* aveva ottenuto un grande successo anche in Francia: egli d'altronde aveva un'alta opinione di Kuprin, e lo considerava un romanziere da annoverare nella ricca tradizione della letteratura russa. A riguardo però dovette scontrarsi con Bunin, che riteneva Čechov l'ultimo grande scrittore che la Russia avesse avuto fino a quel momento.⁷³ Scrisse Šmelëv ad Aleksandr Ivanovič alla fine del mese di agosto del 1923:

“Надо уж поглядеть, какие здесь винограды, да и житьишко тут недорогое [...] брожу – ползаю по саду, орешки собираю кедровые – самое невинное занятие. Посадил шестерку русских огурцов, жду, когда цветы станут [...]. Вообще веду самый нравственный образ жизни. Писать неохота, но... надо. А теперь, с глазом, ни писать, ни читать. [...] Слышал, что 'Яма' идет – мчит! [...] радует душу, что иностранцы теперь Вас глотать будут!”⁷⁴

Aleksandr Michailovič Gliberk, conosciuto con lo pseudonimo di Saša Čërnyj fu un caro amico di Kuprin. Aleksandr Ivanovič cominciò a seguire la sua attività nel 1910, quando l'autore aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo della letteratura come poeta, e riconobbe immediatamente la sua originalità:

una croce perenne, portava nell'animo il suo dolore: in Crimea nel 1920 era tragicamente morto il suo unico e adorato figlio Sergej, che amava, si può dire, con affetto materno. Prima, negli anni '10, Šmelëv non era mai stato vicino a Kuprin. Pur riconoscendo gli innegabili meriti dei suoi romanzi e dei suoi racconti [...] Kuprin non sentiva affinità con Šmelëv-scrittore. Ma ora, nel corso di un breve dialogo, percepiva acutamente quel sincero affetto che di colpo, in un sol momento, unisce le persone”

73. O. Michajlov, *Kuprin*, cap.5, pp.238: “Сколько в его сочинениях красоты, сентиментальности, ловко придуманного на потребу... Нет, великая русская литература кончилось на Чехове [...]”: “Per quanto nelle sue composizioni ci siano bellezza e sentimenti, abilmente inventati su richiesta... No, la grande letteratura russa è finita con Čechov. [...]”

74. *Ibidem*, cap.5 pp.239: “Bisognerebbe dare un occhio all'uva che cresce qui, la vita poi non è cara [...] vago, mi aggiro per il giardino, raccolgo i pinoli: è l'occupazione più semplice e innocente. Ho piantato sei piante di cetrioli russi, e aspetto, che crescano i fiori. [...] Conduco un sano stile di vita. Sono riluttante a scrivere... ma ce n'è bisogno. Ma ora, a causa dell'occhio (malato), non scrivo e non leggo. [...] Ho sentito che “La Fossa” sta andando bene: sta decollando! [...] rallegra lo spirito il fatto che ora gli stranieri vi accetteranno”.

“совсем своеобразный, полный доброго восхищения жизнью, людьми, травами и животными, тот ласковый и скромный рыцарь, в щите которого, заменяя герольда, смеется юмор и сверкает капелька слезы.”⁷⁵

Gliberk emigrò a Parigi nel 1924, e quell'anno, per festeggiare il trentacinquesimo anniversario dell'attività artistica di Kuprin si espresse nei confronti dell'amico con parole affettuose, che furono in grado di dimostrargli tutta la sua stima sia a livello personale che professionale (Saša Čěrnŷj inoltre dedicherà all'amico nel 1926 la poesia *Pascha v Gatčine*) :

“Александр Иванович Куприн – одно из самых близких и дорогих нам имен в современной русской литературе. Меняются литературные течения, ветшают формы; исканий и теорий неизмеримо больше, чем достижений, но простота, глубина и ясность, которыми дышат все художественные страницы Куприна, давно поставили его за пределы капризной моды и отвели ему прочное, излюбленное место в сознании не нуждающихся в проводниках читателей.”⁷⁶

Ed ecco che quando a Kuprin giunse la notizia della sua morte, il 5 agosto 1932, una grande tristezza lo assalì, assieme alla terribile consapevolezza che tutte le persone a lui care lo stavano abbandonando.

Un altro prezioso rapporto fu quello con Konstantin Bal'mont, che pur essendo artisticamente molto distante da Kuprin (in quanto appartenente alla corrente simbolista), era a lui vicino per il doloroso sentimento di nostalgia per la Russia che accomunava i due scrittori. Scrisse alla moglie a marzo, 1923:

“... я лежу угрюмый целый день, молча курю, думаю о России, о великой радости слышать везде Русский язык, о том, что я Русский,

75. O. Michajlov, *Kuprin*, cap.9, pp. 251 “del tutto originale, pieno di ammirazione per la vita, per gli uomini, le piante e gli animali, un cavaliere gentile e modesto, sotto il cui scudo, sostituendo l'araldo, si ride e si piange.”

76. *Ibidem*: “Aleksandr Ivanovič Kuprin è uno dei nomi a me più vicini e cari della letteratura russa contemporanea. Le correnti letterarie cambiano, deteriorano le forme; le ricerche e le teorie sono infinitamente di più dei progressi, ma la semplicità, la profondità e la chiarezza, che si respirano in tutte le pagine di Kuprin, da molto lo hanno escluso dai capricci della moda e gli hanno assegnato un buon posto stabile nella coscienza dei lettori che non necessitano di conduttori”

a все-таки не гражданин вселенной и уж меньше всего гражданин старенкой, скученькой, серенькой Европы”⁷⁷

Anche Bal'mont, come Saša Čěrnųj, dedicò a Kuprin una poesia, nella quale lo lodò e lo ringraziò per le sue opere impregnate di amore nei confronti della patria, ricche di elementi tradizionalisti, e in grado di richiamare alla memoria i ricordi lontani legati alla Russia:

Если зимний день тягучий
Заменила нам весна,
Прочитай на этот случай
Две страницы Куприна.

На одной найдешь ты зиму,
На другой войдешь в весну.
И «спасибо побратиму» —
Сердцем скажешь Куприну.

Здесь, в чужбинных днях, в Париже,
Затомлюсь, что я один, —
И Россию чуют ближе
Мне дает всегда Куприн.

[...]

Ты — родной и всем нам милый,
Все мы любим Куприна.⁷⁸

Kostantin Bal'mont non fu affatto fortunato a Parigi: oltre a non trovare la stabilità economica, cosa che accomunava molti russi emigrati, si ammalò di depressione, e a partire dal 1932 iniziò ad essere ricoverato in diversi ospedali

77. O. Michajlov, *Kuprin*, cap. 9, pp. 252: “...sto a letto triste tutto il giorno, fumo in silenzio, penso alla Russia, all'estrema felicità di sentire ovunque parlar russo, al fatto che io sono russo, e nonostante tutto non sono cittadino dell'universo, e ancora meno cittadino della vecchia, noiosa e grigia Europa.”

78. “Se la primavera ci ha portato | un'umida giornata d'inverno, | leggi in tal caso | due pagine di Kuprin.

In una troverai l'inverno | nell'altra ti immergerai nella primavera. | E “grazie fratello” | dirai con il cuore a Kuprin.

Qui, in questi giorni d'emigrazione, a Parigi | mi sono stancato, di essere da solo | E di sentire la Russia più vicina | me ne dà sempre la possibilità Kuprin. [...] Tu, compatriota e caro a tutti noi | tutti noi amiamo Kuprin.

addetti alla cura di disturbi mentali. Anche se morì nel 1942, negli ultimi dieci anni della sua vita fu inattivo, e Kuprin lo sentì lontano fin dal primo giorno in cui lo sottoposero a trattamenti ospedalieri che risultarono inutili.

Una delle poche persone vicine a Kuprin fino alla fine dei suoi giorni fu Andrej Sedych, al secolo Jakov Moisevič Cvibak, famoso letterato, critico e giornalista, conosciuto per essere stato il segretario personale di Bunin, oltre che il caporedattore del giornale *Novoe russkoe slovo* a partire dal 1973.

Sedych nel 1928 pubblicò la sua seconda raccolta intitolata *Pariž noč'ju*, la cui prefazione venne scritta dallo stesso Kuprin, che però figurò come il diretto responsabile dell'uscita di quest'opera definita scandalosa, dal momento che trattava il degrado della vita notturna a Parigi, tra prostituzione e case chiuse. Aleksandr Ivanovič amava ricevere le visite di Andrej, e lo accoglieva sempre molto calorosamente: era rimasto uno dei pochi amici che continuavano a ricordarsi della sua esistenza. Spesso assieme si recavano nel bistrot di fiducia di Kuprin, e Sedych amava ascoltare le storie di vita militare, le avventure di caccia e i ricordi dell'infanzia e della giovinezza dell'amico assai più vecchio di lui.

“Андрей Седых был одним из немногих, кто захаживал иногда к некогда знаменитому, а теперь позабытому писателю.

Скуластое лицо Куприна с широким, сломанным и несколько приплюснутым носом при виде его расцветало в детской улыбке. На широком некрашеном столе появлялась бутылка простого вина и тарелка с дешевыми пряниками из соседней русской лавки.”⁷⁹

Sedych assistette all'indebolimento progressivo di Kuprin, e poco prima che lo scrittore tornasse in patria, lo vide un giorno per strada, mentre avanzava con difficoltà:

“Как-то они столкнулись на улице. Седых сам подошел к нему, назваля.

- Возьмите меня под руку, - попросил Куприн. - Ходить прямо я еще

79. O. Michajlov, *Kuprin*, cap. 9, pp. 258: “Andrej Sedych era uno dei pochi che faceva visita di tanto in tanto al famoso scrittore, ora dimenticato. Il volto di Kuprin dagli zigomi alti, con il naso largo, rotto e un po' schiacciato sbocciava in un sorriso da bambino alla vista di Andrej. Nella spaziosa tavola non pitturata compariva una bottiglia di semplice vino e un piatto con dolcetti a buon mercato comprati nella vicina bottega russa.”

могу, а вот поворачивать – боюсь, не уверен. И зайдем, знаете, в лавочку к Суханычу...”⁸⁰

E fu proprio in quell’occasione che pronunciò queste famose parole:

“Умирать нужно в России, дома. Так же, как лесной зверь, который уходит умирать в свою берлогу...[...] Есть люди, которые по глупости или от отчаяния утверждают, что и без родины можно, или что родина там, где ты счастлив... Меня нельзя без России.”⁸¹

Tra gli amici e i conoscenti che nominiamo *en passant*, data la loro presenza né troppo significativa né costante nella vita di Aleksandr, ci sono Mark Aldanov, conosciuto in modo particolare per le sue opere di carattere storico, la scrittrice umorista Teffi, il romanziere Aleksej Tolstoj e il pittore Petr Nilus, che Kuprin amava invitare a casa per fargli vedere i quadri della figlia Ksenia, che aveva praticamente costretto a prendere lezioni di arte. Aleksandr infatti voleva sapere se, secondo il parere del pittore, dalle prima opere della ragazza si potesse già scorgere in lei i tratti del vero artista.

“Художник Нилус, известный не только своим картинами, дружбой с Репиным, но и талантливыми очерками, в то время очень часто приходил к нам в гости”⁸²

Innumerevoli infine furono le visite che Kuprin ricevette a Parigi da parte di scrittori, musicisti e pittori minori, che passavano a casa sua per salutarlo, per parlare di politica, società, arte e cultura. Molte delle persone che lo andavano a trovare erano semplici curiosi, desiderosi di vedere dal vivo e conoscere l’autore che aveva riscosso molto successo in Russia, e che ora si ritrovava confinato lontano da essa.

80. O. Michajlov, *Kuprin*, cap. 9, pp. 259: “Un giorno casualmente si incontrarono per strada. Lo stesso Sedych gli si avvicinò, lo chiamò. - Prendetemi per mano,- chiese Kuprin. - Riesco ancora ad andare dritto, ma di girarmi ho paura, non mi sento sicuro. E facciamo un salto, sapete dove, alla bottega di Suchanyč...”

81. *Ibidem*, pp. 260: “Bisogna morire in Russia, a casa. Come un animale della foresta, che va a morire nella sua tana... [...] Ci sono uomini, che per ignoranza o per disperazione, affermano che senza patria si può stare, oppure che la patria è lì dove si è felici... Io non ce la faccio senza Russia.”

82. K. A. Kuprina, *Kuprin - moj otec*, cap. 21, pp. 161: “Il pittore Nilus, famoso non soltanto per i suoi quadri, l’amicizia con Repin, ma anche per i suoi saggi, in quel periodo era spesso nostro ospite.”

Con l'avanzare dell'età e della debolezza fisica però anche queste visite spontanee diminuirono sempre più, fino a che cessarono definitivamente.

Quando Aleksandr Ivanovič tornò in patria infatti era rimasto praticamente senza amici, o per lo meno quelli a lui più cari se ne erano già andati per sempre. Gli rimase però sempre a suo fianco la moglie Elizaveta, che lo accompagnò anche nell'ultimo grande spostamento: il ritorno definitivo a "casa".

Capitolo 3

I racconti

3.1 Pesik, Nasino nero (1921)

3.1.1 Пёсик - Чёрный Носик

В имении Загорье, Устюженского уезда, Новгородской губернии, жила знакомая мне помещичья семья Трусовых – славная, бестолковая, дружная, простосердечная – прелестная русская дворянская семья. Всю жизнь ее можно очертить в двух-трех словах: уютный старый дом, постоянно гости, множество шумной и поголовно влюбленной молодежи на каникулах. Домашние наливки и соленья, запущенное хозяйство, трижды заложенная земля, фантастические вечерние планы: "А вдруг у нас откроются залежи каолина? или: "Говорят, что через нас скоро пройдет железная дорога, вот тогда-то мы поправимся..."

Как и полагается, в усадьбе жила пропасть всяких животных – нужных и ненужных – не считая домашнего скота и птицы, то есть пять довольно сносных гончих, папин сеттер, несколько дворняг без должности и древний, полуслепой, полупараличный, оглохший, но все же яростно-злой Барбос на цепи; кошки кухонные, полудикие; кошки комнатные с ленточками и бантиками на шее; кролики; годовалый скандалист-медвежонок; ежи; морские свинки; свирепый и вонючий хорек в клетке; сороки и скворец – будто бы говорящие, хотя никто не слышал их разговора; ручные белки; журавль; белые мыши; отдельный ручной комнатный баловник-поросенок; отдельный козел, мастер бодать прохожих под коленки... и многое другое. Настоящей же повелительницей этого животного царства, повелительницей мудрой, властной и кроткой, была младшая дочка Рая, тогда девочка лет четырнадцати. Всех своих двуногих и четвероногих подданных она знала по именам, происхождениям и характерам, и все они (кроме хорька) радостно отзывались и стремительно прибегали на ее зов. Любовь к животным была в ней не болезненной чертой, а истинным, щедрым божьим даром, при помощи которого она делала чудеса. Так, например, воспитывалась у нее в комнате молодая лиса, взятая из норы еще

щенком-сосунком позднею зимою. Очень скоро она приучилась бегать за Раей, как собачонка; охотно по вечерам дремала у нее на коленях, а ночью спала у нее в ногах. Так прошел почти год. К следующей зиме шерсть на лисе из цвета кофе с молоком стала ярко-красной и блестела от хорошего питания и ухода. Но в середине ноября какие-то таинственные, далекие голоса разбудили в звере вольные инстинкты, и однажды утром лиса убежала. Следы ее вели по огороду, через прясла и дальше через снежное поле, к лесу, находившемуся в версте от усадьбы. Рая никому не позволила преследовать беглянку, но сама вышла в поле, остановилась шагах ста от околицы и начала звонко кричать тем же голосом, каким и всегда она звала свою лису: "Лисинька, лись, лись, лись!.. Лисинька, лись!.."

Через час лиса показалась из леса. Она сначала робко, потом отважнее приближалась к Рае, ярко-красная на белом снегу, подошла вплотную и даже взяла из рук кусок вареной говядины. Но погладить себя не далась – прынула, вильнула пушистым хвостом и исчезла так быстро, как умеют только лисы. Она пришла и на другой день на Раин зов, но больше уже не являлась. Должно быть, ею овладели очарование дикой лесной жизни и прелесть свободы. А может быть, ее загрызли соплеменники за чужой запах, за утраченную звериность? Я не знаю, не слышал и не верю, чтобы кому-нибудь другому удался такой опыт с годовалой лисою, как Рае. Было в ней какое-то простое обаяние, заставлявшее животных быть доверчивыми к ней и добровольно покорными. Самые злые собаки и самые строптивые лошади успокаивались в ее присутствии. Охотно подчинялись ей и люди. В ней чувствовалось то лучшее, что присуще зверям: правдивость, чистота, смелость и внутренняя зоркость, давно утраченные людьми. Поэтому не удивительно, что все в усадьбе невольно мирилось с ее страстью подбирать повсюду и приносить домой совершенно ненужных животных: увечных, старых собак; брошенных или заблудившихся щенят; слепых котят, отнятых у деревенских мальчишек, собиравшихся их топить; птенцов, выпавших из гнезда; подраненных зайцев и т. д. Вот так-то она однажды и принесла в подоле юбки грязного, дрожащего двухмесячного щенка, подобранного ею в дорожной канаве в рыхлом снегу. Щенок был Раей обмыт и высушен в нагретом одеяле.

Оказался он престранной наружности: туловище рыжее, мохнатое, хвост гладкий, длинный, белый, уши коричневые, короткие, а вся морда белая, за исключением черного пятна на носу, за что он тут же и был назван – "Пёсик Чёрный Носик". К тому же, несмотря на нежный возраст, он сразу проявил не только чрезмерную прожорливость, но и замечательную злобность.

– Более отвратительной собачонки я не встречал во всю мою жизнь, –

сказал Дмитрий Семенович, Раин отец, "Великий Охотник когда увидел щенка. – Его бы назвать не Чёрный Носик, а Кабыздох.

Такое же впечатление Чёрный Носик произвел на всех обитателей Загорья и производил на всех гостей. И это, вероятно, и было причиной того, что Рая взяла убудка под свое особенное попечение и сердечное покровительство. А Пёсик все рос и рос и к году окончательно выровнялся в самого мерзкого из псов, какие когда-либо бегали на четырех ногах, лаяли и портили воздух на обоих полушариях земли. Казалось, в нем соединились все самые злые и порочные собачьи породы, и каждая отразила в нем "максимум" своей склонности к преступлению. У него были желтые, светлые глаза, подлый взгляд исподлобья и во всей морде непередаваемое выражение трусости, наглости и низкого лукавства. Роста он был со среднюю гончую. Он тайком душил кур и цыплят, воровал и выпивал яйца. Он никогда не мог насытиться и после хорошего, сытного обеда бежал на помойку и рылся в ней головой и лапами. Однажды он забежал в рабочую избу, где в печи кипели щи для работников, всунул морду в котел и, несмотря на ожог, вытащил-таки десятифунтовый кусок мяса с костью. За ним погнались, но он успел скрыться в малиннике и там дожрал говядину. Когда его нашли, он лежал на обглоданной кости и вызывающе рычал.

Он не выносил человеческого зора и потому кусал только за ноги, подкравшись сзади. Он трепал насмерть заморенных кошек и мелких собак. Но при первом грозном рывканье большого пса падал на спину и униженно болтал лапами в воздухе и вилял туловищем.

У него была прегадкая, грязная манера улыбаться, вертя мордой, морща нос и оскаливая зубы. Это бывало тогда, когда он готовился или выпросить что-нибудь, или совершить какую-нибудь подлость. Он никого из людей не любил, даже и Раю, свою благотворительницу, хотя и слушался ее немного, ради будущих подачек. Рая избаловала его тем, что рано позволила ему валяться на диванах и кроватях и спать в комнатах. Когда ему исполнилось два года и от него стало нестерпимо вонять псиной, то решено было заставить его ночевать во дворе. Но он подходил к окнам и так нестерпимо, раздражающе выл, что его впускали. Иногда Раины братья сгоняли его с дивана плеткой. Он рычал, визжал, прятался под диван или забивался в угол, но через пять минут, когда о нем забывали, опять взлезал на то же место. У него не замечалось никакого оттенка самолюбия. Вообще он был предметом ненависти и презрения всего дома. Достаточно сказать, что к двум годам он не мог приучиться держать себя опрятно в комнатах...

Но всему бывает конец. Конец Пёсику Чёрному Носику пришел в конце июля, когда ему стало около двух с половиной лет. Брат Раи, юнкер Дима,

вошел в ее комнату, чтобы взять какую-то книжку с полочки, висевшей над Раиной кроватью.

Но на кровати лежал Чёрный Носик. При виде Димы он мгновенно вскочил на все четыре ноги и яростно зарычал. Дима не был боязлив, однако вид собаки испугал его. Было что-то зловеще-страшное в ее вздыбленной шерсти, глазах, налитых кровью, в разверстой, опененной и как бы дымящейся пасти. Он захлопнул дверь и побежал жаловаться Рае. Рая в это время вместе с отцом подпирала в саду рогатками тяжелые ветви фруктовых деревьев. Она назвала брата трусишкой, вытерла руки о передник и быстро пошла в дом. Отец и брат в какой-то неясной тревоге побежали за нею. Дмитрий Семенович немного замешкался. По дороге он забежал в мой кабинет, где у него – "Великого Охотника убившего в своей жизни более пятидесяти медведей и без числа всякого другого зверья, – все стены была увешаны редким и ценным оружием.

Рая сама открыла дверь. Чёрный Носик, как и прежде, вскочил с грозным рычанием...

– Пёсики-Носики! – пропела ласково Рая, делая шаг вперед и протягивая к собаке руку. – Чёрные Носики!..

Собака сделала огромный прыжок с кровати по направлению к девочке. В тот же момент, оглушив Раю и Диму, грянул сзади них выстрел, и пес, не докончив прыжка, перевернулся в воздухе, упал и покатился по полу, корчась в предсмертных судорогах.

Весь день Рая плакала и бранила отца и брата, называя их убийцами. Но к вечеру приехал старый, добрый ветеринар, за которым послали нарочного. Ветеринар взрезал собачий труп и клятвенно уверил Раю, что пес был бешеный. А Рая ему верила. Они были давнишние друзья. Рая успокоилась, хотя потом долго вздыхала от пролитых слез.

3.1.2 Pesik, Nasino nero

Nella tenuta "Zagor'e", del distretto di Ustjug, governatorato di Novgorodsk, vivevano dei proprietari fondiari che conoscevo, i Trusov. Costituivano una famiglia molto piacevole, un po' scombinata, affiatata, e buona – una straordinaria famiglia nobile russa. E' possibile descrivere tutta la loro vita con poche parole: avevano una casa vecchia e accogliente, ospiti in continuazione, e molti giovani chiassosi, che si innamoravano tutti, senza eccezione, durante le vacanze. Liquori fatti in casa e cibi in salamoia, amministrazione trascurata, terra ipotecata tre volte, irreali piani serali: "E se magari verranno scoperti nella nostra terra delle riserve di caolino?" oppure "Si dice che presto attraverso la nostra tenuta passerà una linea ferroviaria, e allora ristabiliremo la nostra situazione...".

Come di consuetudine, nel podere vivevano una moltitudine di svariate bestie, necessarie e non, senza contare gli animali domestici e gli uccelli, ossia cinque levrieri abbastanza buoni, il setter del papà, alcuni cani bastardi senza una funzione precisa e un vecchio cane da guardia che veniva tenuto legato alla catena, mezzo cieco, in parte paralizzato, sordo, ma comunque ancora furiosamente cattivo; gatti mezzi selvatici che venivano tenuti in cucina; gatti da camera, con nastri e fiocchi al collo, conigli; un orsetto rissoso di un anno; ricci; cavie; una feroce e maleodorante puzzola in gabbia; gazze e uno storno, che avrebbero dovuto essere parlanti, sebbene nessuno li avesse mai sentiti discutere; scoiattoli addomesticati; una gru; topolini bianchi; un maialino-monello addomesticato, un caprone solitario, abilissimo nell'incornare i passanti sotto al ginocchio.. e molti altri ancora.

La vera regina di questo regno animale, governatrice saggia, autoritaria e mansueta, era Raja, la figlia minore, che allora aveva circa quattordici anni. Ella conosceva tutti i suoi sudditi a due o quattro zampe per nome, provenienza e indole, e tutti loro (eccetto il furetto) rispondevano gioiosi e accorrevano rapidi al suo richiamo.

L'amore per gli animali non era in lei una caratteristica morbosa, ma un istintivo e generoso dono di dio, con l'aiuto del quale compiva miracoli.

Per esempio, aveva allevato nella sua stanza una giovane volpe, presa dalla tana alla fine dell'inverno, mentre era ancora un cucciolo in allattamento. Molto in fretta prese l'abitudine di correre dietro a Raja, come un cagnolino; con piacere alla sera sonnecchiava sulle sue ginocchia, e di notte dormiva tra i suoi piedi. In questo modo trascorse circa un anno. In prossimità dell'inverno successivo, il pelo della volpe da color caffèlatte diventò fulvo e lucido grazie alla buona alimentazione e cura. Ma alla metà di novembre alcune voci misteriose e lontane risvegliarono nell'animale l'istinto di libertà, e una mattina scappò via.

Le sue impronte portavano attraverso l'orto, oltre lo steccato e poi lungo il campo innevato verso il bosco, che si trovava ad una versta di distanza dalla tenuta. Raja non permise a nessuno di inseguire la fuggiasca, si diresse lei stessa al campo, fermandosi a circa cento passi dal confine del villaggio, e iniziò a urlare forte, con la stessa voce con la quale sempre chiamava la sua volpe:

“Volpina, volpe, volpe volpe!.. Volpina, volpe!..”

Dopo un'ora la volpe venne fuori dal bosco. Prima timidamente, poi con più coraggio si avvicinò a Raja, con il manto rosso acceso in mezzo alla neve bianca, venne vicino e prese addirittura dalle mani un pezzetto di manzo bollito. Ma non si lasciò accarezzare: spiccò un balzo, agitò la coda vaporosa e scomparve così velocemente come solo le volpi sanno fare.

Accorse anche il giorno dopo al richiamo di Raja, ma non si fece più vedere.

Probabilmente l'avevano catturata il fascino della vita selvaggia del bosco e l'incanto della libertà. O può essere che l'avessero presa a morsi i suoi simili perché aveva un odore estraneo e perché aveva perso il suo carattere selvatico? Io non conosco, non ho sentito, e non credo che esista qualcun altro a cui sia riuscito un tale esperimento con una volpe di un anno come l'ha avuto Raja. Aveva un fascino naturale, che portava gli animali ad essere fiduciosi nei suoi confronti e volontariamente sottomessi. Anche i cani cattivi e i cavalli recalcitranti si acquietavano in sua presenza. Anche le persone ascoltavano volentieri le sue indicazioni. In lei si esprimevano bene le caratteristiche che sono proprie delle bestie: la veracità, l'onestà, l'audacia e una perspicacia interiore, persa molto tempo fa negli uomini.

Per questo non sorprende che tutti alla tenuta si fossero rassegnati involontariamente alla sua passione di raccogliere da ogni parte animali assolutamente inutili e portarli a casa: cani storpi, vecchi; cuccioli abbandonati o smarriti; gatti ciechi, portati via dalle mani dei ragazzini che si apprestavano ad affogarli; uccellini, caduti dal nido; lepri ferite, etc.

Ed ecco che un giorno ella portò nel lembo della gonna un cucciolo di cane sporco e tremante di due mesi, raccolto in un canale di strada nella neve fresca. Il cucciolo venne lavato da Raja e asciugato in una coperta calda.

Aveva un aspetto molto strano: il torso rosso, ispido, la coda liscia, lunga, bianca, le orecchie marroni, corte, e tutto il muso bianco, ad eccezione di una macchia nera sul naso, per la quale venne chiamato "Nasino nero".

E per di più, nonostante la tenera età, aveva subito dimostrato non soltanto di essere estremamente vorace, ma anche incredibilmente cattivo. "Un cane più terribile di questo io non l'ho mai incontrato in tutta la mia vita", disse Dmitrij Semenovič, il padre di Raja, il "Grande Cacciatore", quando vide il cucciolo. Non si dovrebbe chiamare Nasino nero, ma Cagnaccio.

Lo stesso effetto Nasino nero lo suscitava a tutti gli abitanti di "Zagor'e" e a tutti gli ospiti. E questo fu appunto il motivo per il quale Raja prese il bastardino sotto la sua speciale cura e amorosa protezione.

Il cagnolino continuava a crescere e quando aveva circa un anno era diventato il più schifoso dei cani che si sia mai visto correre su quattro zampe, che abbia mai abbaiato e rovinato l'atmosfera di entrambi gli emisferi terrestri. Sembrava che in lui si fossero unite tutte le razze canine più cattive e piene di difetti, e che ognuna avesse lasciato a lui il massimo della sua inclinazione alla trasgressione. Aveva occhi gialli e luminosi, un disonesto sguardo in tralice, e in tutto muso era diffusa un' indescrivibile espressione di vigliaccheria, impudenza e losca furbizia. Aveva la stazza di un levriero medio.

Di nascosto strangolava le galline e i pulcini, rubava e si beveva le uova. Non riusciva mai a saziarsi e dopo un bel pranzo abbondante correva alla spazzatu-

ra e vi frugava dentro con la testa e le zampe. Una volta fece un salto all'isba degli operai, dove sulla stufa stava bollendo della minestra di cavoli per loro, infilò il muso in cucina e, non badando alla possibilità di ustionarsi, riuscì a portar fuori un pezzo di carne con l'osso dal peso di una decina di libbre. Si misero a correrli dietro, ma lui riuscì a nascondersi tra i cespugli di lampone e lì si divorò il suo pezzo di manzo. Quando lo trovarono, stava disteso sopra all'osso completamente spolpato e ringhiava con aria di sfida.

Non sopportava lo sguardo umano, per questo mordeva soltanto le gambe, avvicinandosi da dietro. Cercava di sbranare i gatti spossati e i cani di piccola taglia. Ma al primo terribile abbaiare di un grande cane si gettava a terra e umilmente dimenava le zampe in aria e muoveva il torso.

Aveva un ripugnante e turpe modo di sorridere, girando il muso, increspando il naso e digrignando i denti. Questo accadeva quando si preparava a chiedere qualcosa con grande insistenza, o quando era pronto a commettere una qualche bassezza. Non amava nessuno tra gli uomini, nemmeno Raja, la sua benefattrice, anche se la ascoltava un poco, per i premi di ricompensa che sarebbero seguiti. Raja lo aveva viziato, per il fatto che presto gli aveva permesso di sdraiarsi sui divani e sui letti e di dormire nelle camere. Quando compì due anni e cominciò a puzzare insopportabilmente di cane, si decise di fargli passare la notte in giardino. Ma lui si accostava alle finestre, ed ululava in modo così insopportabilmente irritante che lo facevano entrare. A volte i fratelli di Raja lo cacciavano dal divano con un cuscino. Ringhiava, guaiva, si nascondeva sotto il divano o si cacciava in un angolo, ma dopo cinque minuti, quando ci si era dimenticati di lui, di nuovo saliva allo stesso posto. In lui non si notava alcuna traccia di amor proprio. In generale era oggetto di odio e disprezzo di tutta la casa. E' sufficiente dire che aveva quasi due anni e non aveva ancora imparato a non fare pipì nelle camere...

Ma tutto finisce. La fine di Nasino nero giunse al termine di luglio, quando aveva circa due anni e mezzo. Il fratello di Raja, lo junker ¹ Dima, entrò nella stanza della sorella, per prendere un libro dalla mensola, che stava sopra al letto di Raja. Ma sul letto stava disteso Nasino nero. Vedendo Dima in un attimo saltò sulle quattro zampe e cominciò a ringhiare furiosamente. Dima non era pauroso, eppure la vista del cane gli fece prendere uno spavento. C'era qualcosa di minaccioso e spaventoso nel suo pelo rizzato, nei suoi occhi, iniettati di sangue, nella sua bocca spalancata, piena di bava e che sembrava emettere fumo. Chiuse la porta con un tonfo e corse a lamentarsi con Raja.

1. Junker: grado militare esistente fino al 1918, indicava un soldato gerarchicamente superiore ai sottufficiali ma inferiore rispetto ai capi militari.

Raja in quel momento assieme al padre in giardino raddrizzava con dei bastoni i rami pesanti degli alberi da frutto. Aveva definito il fratello un fifone, si era pulita le mani sul grembiule e veloce era entrata in casa. Il padre e il fratello, spaventati per una motivo poco chiaro, le corsero dietro.

Dmitrij Semenovič, indugiò un po'. Correndo per la via giunse nel suo studio, dove lui, il "Grande Cacciatore", che aveva ucciso nella sua vita più di cinquanta orsi e una quantità infinita di altri animali, teneva appesi su tutte le pareti fucili rari e preziosi.

Raja stessa aprì la porta. Nasino nero, come prima, saltò su con un ringhio minaccioso...

- Nasino Nero - disse affettuosamente Raja percorrendo la stanza, facendo un passo in avanti e tendendo la mano al cane.- Nasino Nero!..

Il cane fece un enorme balzo dal letto in direzione della ragazza. In quello stesso momento, avendo assordito Raja e Dima, echeggiò dietro di loro uno sparo, e il cane, che non aveva ancora toccato il suolo, si capovoltò in aria, cadde e iniziò a rotolare sul pavimento, contorcendosi negli spasmi che precedono la morte.

Raja pianse tutto il giorno, criticò aspramente il padre e il fratello, chiamandoli assassini. Ma verso sera arrivò il caro, vecchio veterinario, che era stato mandato dal corriere.

Il veterinario incise il corpo morto del cane e solennemente convinse Raja che il cane era rabbioso. Raja gli credette. Erano vecchi amici.

Raja sospirò a lungo per le lacrime versate, ma alla fine si calmò.

3.2 Yu-yu (1925)

3.2.1 Ю-ю

Если уж слушать, Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички. . . Звали ее Ю-ю. Не в честь какого-нибудь китайского мандарина Ю-ю и не в память папирос Ю-ю, а просто так. Увидев ее впервые маленьким котенком, молодой человек трех лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнес: «Ю-ю». Точно свистнул. И пошло – Ю-ю.

Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом. . . И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пуши-

стого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу города и предмет зависти любителей.

Ника, вынь указательный палец изо рта. Ты уже большая. Через восемь лет – невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг – палец в рот! Вздохнет принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стеклами... да пыль от колес и копыт... .

Выросла, словом, всем кошкам кошка. Темно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанинах, хвост как ламповый ерш!..

Ника, спусти с колен Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо? Брось, иначе не буду рассказывать.

Вот так. А самое замечательное в ней было – это ее характер. Ты заметь, милая Ника: живем мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто – не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой – своя особенная душа, свои привычки, свой характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей... .

Ну скажи, видала ли ты когда-нибудь еще такую непоседу и егозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем на веко? Тебе кажутся две лампы? И они то съезжаются, то разъезжаются? Никогда не трогай глаз руками... .

И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут: осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям и ленив, – его деликатно называют ослом. Запомни же, что, наоборот, осел – животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил и вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливается и говорит: «Этого я не могу. Делай со мной что хочешь». И можно бить его сколько угодно – он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее: осел или человек? Лошадь – совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает ее силы, и тут же подохнет от усердия... . Говорят еще: глуп, как гусь... . А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору – гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор – сейчас же гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?»

А какие они... Ника, не жуй бумагу. Выплюнь... А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала! Птенцов высиживают поочередно – то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. Если она в свой досужный час заговорится через меру с соседками у водопойного корыта, – по женскому обыкновению, – господин гусь выйдет, возьмет ее клювом за затылок и вежливо потащит домой, ко гнезду, к материнским обязанностям. Вот как-с! И очень смешно, когда гусиное семейство изволит прогуливаться. Впереди он, хозяин и защитник. От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаке или легкомысленной девочке вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дороги: сейчас же зазмеит над землею, запищит, как бутылка содовой воды, разинет жесткий клюв, а назавтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка все трясет ущемленным ухом.

А за гусем – гусенята, желто-зеленые, как пушок на цветущем вербном барашке. Жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они не тверды – не веришь тому, что вырастут и станут, как папаша. Маменька – сзади. Ну ее просто описать невозможно – такое вся она блаженство, такое торжество! «Пусть весь мир смотрит и удивляется, какой у меня замечательный муж и какие великолепные дети. Я хоть и мать и жена, но должна сказать правду: лучше на свете не сыщешь». И уж переваливается с боку на бок, уж переваливается... И вся семья гусиная – точь-в-точь как добрая немецкая фамилия на праздничной прогулке.

И отметь еще одно, Ника: реже всего попадают под автомобили гуси и собачки таксы, похожие на крокодилов, а кто из них на вид неуклюжее, – трудно даже решить.

Или, возьмем, лошадь. Что про нее говорят? Лошадь глупа. У нее только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так – дура дурой, кроме того еще, что близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в темных конюшнях, которые не знают радости воспитать ее с жеребьячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто ее моет, чистит, водит коваться, поит и задает корм. У такого человека на уме только одно: сесть на лошадь верхом и бояться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придет освежить лошади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попоить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке... За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я тебя?

А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади, и он тебе всегда ответит: умнее, добрее, благороднее лошади нет никого, – конечно,

если только она в хороших, понимающих руках.

У арабов – лучшие, какие только ни на есть, лошади. Но там лошадь – член семьи. Там на нее, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника, такая лошадь и скорпиона раздавит копытом, и дикого зверя залягает. А если чумазый ребяенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмет его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: «Не лазай, дурачок, куда не следует».

И умирают иногда лошади в тоске по хозяину, и плачут настоящими слезами.

А вот как запорожские казаки пели о лошади и об убитом хозяине. Лежит он мертвый среди поля, а

Вокруг его кобыльчина ходе,
Хвостом мух отгоняе,
В очи ему заглядае,
Пырська ему в лице.

Ну-ка? Кто из них прав? Воскресный всадник или природный?..

Ах, ты все-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. И правда: мой рассказ почти исчез в предисловии. Так, в Древней Греции был крошечный городишко с огромнейшими городскими воротами. По этому поводу какой-то прохожий однажды пошутил: смотрите бдительно, граждане, за вашим городом, а то он, пожалуй, ускользнет в эти ворота.

А жаль. Я бы хотел тебе рассказать еще о многих вещах: о том, как чистоplotны и умны оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у нее кость, как верблюды... Ну ладно, долой верблюдов, давай о кошке.

Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист: в типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, а кроме того, бумага отлично хранит тепло.

Когда дом начинал просыпаться, – первый ее деловой визит бывал всегда ко мне и то лишь после того, как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною.

Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко: «Муррм».

За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук «муррм». Но было в нем много разнообраз-

ных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «муррм» всегда означало: «Иди за мной».

Она спрыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моем повиновении.

Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя желто-зелеными хризолитами глаз, Ю-ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырехлетний молодой человек со своей матерью. Я притворял ее. Чуть слышное признательное «мрм», S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, – и Ю-ю скользнула в детскую.

Там – обряд утреннего здорованья. Сначала – почти официальный долг почтения – прыжок на постель к матери. «Муррм! Здравствуйте, хозяйка!» Носиком в руку, носиком в щеку, и кончено; потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная. «Муррм, муррм! Здравствуй, дружок! Хорошо ли почивал?»

– Ю-юшенька! Юшенька! Восторгательная Юшенька!

И голос с другой кровати:

– Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку! Кошка – рассадник микробов. . .

Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди суть только кошки и люди. Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает.

Ю-ю никогда не попрошайничает. (За услугу благодарит кротко и сердечно.) Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома – бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив ее передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом – кляк! – ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше – легко.

Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-ю зацепляется когтями за крайину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике. Но – молча.

Мальчуган – веселый, румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-ю прямо влюблен. Но Ю-ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд – и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в ее жилах течет голубая кровь от двух

ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для нее – всего лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет.

Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая у дынь лишние побеги – здесь нужен большой расчет. Жарко от летнего солнца и от теплой земли. Беззвучно подходит Ю-ю.

«Мрум!»

Это значит: «Идите, я хочу пить».

Разгибаюсь с трудом, Ю-ю уже впереди. Ни разу не обернется на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведет меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперед. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, легко находит на мраморных краях три опорные точки для трех лап – четвертая на весу для баланса, – взглядывает на меня через ухо и говорит:

«Мрум. Пустите воду».

Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянувши шею, Ю-ю поспешно лижет воду узким розовым язычком.

Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутливой опыта я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке. Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором. «Муррум! Бросьте ваши глупости!..»

И несколько раз тычет носом в кран.

Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует.

Или еще:

Ю-ю сидит на полу перед оттоманкой; рядом с нею газетный лист. Я захожу. Останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю:

«Вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь. Все равно просить я не буду».

Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на оттоманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу – только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся – и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках.

Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам: занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нем много тихой отрады.

Царапаешь, царапаешь пером, вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина! Шипит еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки и те не лают, заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я: в дремучем лесу или на верху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла.

Поворочается немного на столе, помнется, облюбовывая место, и сядет рядышком со мною, у правой руки, пушистым, горбатым в лопатках комком; все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу.

Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше.

Царапает, царапает перо. Сами собой приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди, профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заостренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли?

И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водит глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких, черных, уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтра.

За окном уже можно различить смутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах, на одеяле.

Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.

У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так, тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто скажут: «Кошка – животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь!

Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таком кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой;

– Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьезно. . .

Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за ее звериное сочувствие. . .

И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, – кошка каким-то особенным тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безносаемая отошла от Колина изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать: спокойное величие души!..

Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой – немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно-учливой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»

А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло. Встал с постели Коля худой, бледный, зеленый; губы без цвета, глаза ввалились, ручки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая – человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, верст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский.

Ю-ю с отъездом двух своих друзей – большого и маленького – долго находилась в тревоге и недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно: «Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: «Что случилось? Где они? Куда пропали?»

И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.

Жилье она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтою. Напрасно я звал ее на мягкое кресло и на диван – она отказывалась, а когда я переносил ее туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой темный, жесткий, холодный угол. Странно: почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?

Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторией я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю.

Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных: животные – людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравнилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.

Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае, лучше, чем

у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих. И еще. Был у нас знакомый очень непоседливый мальчик Жоржик, четырех лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал ее за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав ее поперек живота. Этому она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик – будь это через две недели, через месяц и даже больше, – стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.

«Так что же мудреного в том, – думал я, – что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан ее любимый дружок?» Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкному уху.

Вскоре получил ответ, Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мною из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.

И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени – иначе мне трудно было бы управлять с двумя трубками. Зазвенел веселый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:

– Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.

– Какие слова? Я не знаю никаких слов, – скучно отозвался голосок.

– Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.

– Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна?

– Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.

– Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл.

В трубке вдруг что-то щелкнуло, крикнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки:

– Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты ждутся.

Легкий стук, и телефонное шипение умолкло.

Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».

Вот и все про Ю-ю.

Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз.

3.2.2 Yu-yu

Se mai volessi ascoltare, Nika, allora ascolta attentamente. Questo è l'accordo. Lascia stare la tovaglia, cara mia, e non fare treccine con la frangia.

Lo chiamavano Yu-yu. Né in onore di qualche mandarino cinese Yu-Yu, né in memoria delle sigarette Yu-Yu, ma semplicemente così, e basta. Un bambino di tre anni, vedendolo per la prima volta quando era un piccolo gattino, sgranò gli occhi dalla meraviglia, mise le labbra a cuore e pronunciò: "Yu-yu". Come se avesse fischiato. E rimase Yu-yu.

All'inizio era solo un batuffolo peloso con due occhi vivaci e un nasino biancorosato. Questo batuffolo sonnecchiava sul davanzale al sole; beveva il latte dal piattino, socchiudendo gli occhi e facendo le fusa; cercava di acchiappare con la zampa le mosche sulla finestra; si rotolava sul pavimento, giocando con un pezzo di carta, con un gomitolino di fili, con la sua coda... E neanche noi ricordiamo quando all'improvviso al posto di questo batuffolo peloso nero-rosso-bianco abbiamo visto un grande gatto, slanciato e altezzoso, più bello di tutti, ed oggetto di invidia per gli amanti dei gatti.

Nika, toglì l'indice dalla bocca. Sei grande ormai. Tra otto anni, sarai una ragazza da marito. E se prendi questa brutta abitudine? Giungerà dal mare un bellissimo principe, ti proporrà di sposarlo, e tu di punto in bianco ti cacerai il dito in bocca! Il principe sospirerà dispiaciuto e se ne andrà via a cercare un'altra ragazza. Da lontano vedrai soltanto la sua carrozza d'oro con i vetri a specchio... e la polvere sollevata dalle ruote e dagli zoccoli...

Il gatto, quindi, diventò grande, come tutti i gatti. Castano scuro con macchie color fuoco, sul petto un vaporoso colletto bianco, i baffi lunghi un quarto di

aršin², il pelo lungo e tutto luccicante, le zampe posteriori che sembravano indossare larghi calzoncini, la coda che assomigliava ad una spazzoletta per pulire le lampade!.. Nika, tira via Bobik dalla strada. Davvero credi, che l'orecchio di un cucciolo sia la manovella di un organetto? E se qualcuno sollevasse te per l'orecchio? Smettila, altrimenti non continuerò a raccontare...

Eccoci. La cosa più incredibile in lui era l'indole. Ricorda, cara Nika: noi viviamo accanto a molti animali e di loro non sappiamo assolutamente niente. Semplicemente - non ci interessa. Prendiamo, ad esempio, tutti i cani, che io e te abbiamo conosciuto. Ognuno ha la sua particolare anima, le sue abitudini, la sua indole. La stessa cosa c'è nei gatti. E nei cavalli. E negli uccelli. Esattamente come negli uomini...

Dimmi, hai visto mai un' altra ragazza così irrequieta e viva come te, Nika? Perché ti schiacci le palpebre con il mignolo? Ti sembrano due lampade? Ora convergono, ora divergono? Non toccarti mai gli occhi con le dita...

E non credere mai a coloro che ti parlano male degli animali. Ti diranno: l'asino è stupido. Quando si vuole far capire che un uomo è poco intelligente, cocciuto e svogliato, discretamente lo si definisce un asino. Ricordati invece che, al contrario, l'asino è un animale non solo intelligente, ma anche ubbidiente, cordiale e a cui piace far fatica. Ma se viene caricato oltre le sue forze o se viene scambiato per un cavallo da corsa, allora semplicemente si ferma e dice: "Non ce la faccio. Fai di me quello che vuoi". E lo si può picchiare quanto si vuole, non si muoverà dal suo posto. Io vorrei sapere chi in questo caso è più stupido: l'asino o l'uomo? Il cavallo invece è tutt'altra cosa. E' impaziente, nervoso, e suscettibile. Egli fa anche ciò che va oltre le sue capacità, e poi crepa per la diligenza...

Si dice poi: stupido, come un'oca... Ma non c'è uccello più intelligente sulla terra. L'oca riconosce i padroni dall'andatura. Per esempio, stai tornando a casa nel cuore della notte. Cammini lungo la strada, apri il cancello, entri nel cortile, le oche stanno in silenzio, come se non ci fossero. Ma se uno sconosciuto entra in cortile, ci sarà una ribellione: "Qua qua qua! Chi è che gira per le case altrui?"

E come sono... Nika, non masticare la carta. Sputa... E che bravi padri e madri sono, se tu sapessi! Covano a turno, ora la femmina, ora il maschio. L'oca maschio è anche più coscienziosa della femmina. Se durante la sua ora di svago la femmina chiacchera troppo con le vicine presso l'abbeveratoio, come sono solite fare le donne, l'oca maschio va da lei, la prende con il becco da dietro il collo e gentilmente la conduce a casa, al nido, ai doveri di madre. Ecco come

2. Аршин (aršin): antica misura di lunghezza russa pari a 71 cm

si deve fare!

Ed è molto divertente quando la famiglia va a passeggio. In testa c'è il maschio, padrone e difensore. Orgoglioso e fiero, alza il becco al cielo. Guarda tutti i suoi piccoli dall'alto. Ma è una disgrazia per un cane inesperto o per una bambina spensierata, come te, Nika, se non gli liberate il passaggio: inizia a strisciare a terra come un serpente, si mette a starnazzare, come una bottiglia di soda quando viene aperta, spalanca il duro becco, e il giorno dopo Nika arriva con un enorme livido sulla gamba sinistra, sotto al ginocchio, mentre il cane trema ancora con un orecchio morsicato.

E dietro l'oca ci sono i paperotti, giallo-verdi, come la lanugine sul florido agnello pasquale. Si accalcano l'uno con l'altro e pigolano. Hanno i colli senza piume, e non sono stabili sulle zampe, sembra incredibile che cresceranno e diventeranno come il papà. C'è la mamma dietro. Bè, descriverla è semplicemente impossibile: è tutta una tale felicità, una tale festa! "Che tutto il mondo veda e si meravigli del marito meraviglioso e dei figli stupendi che ho. Benché io sia la madre e la moglie, devo dire la verità: al mondo non si potrebbe trovare nulla di meglio."

E si gira su un fianco e poi sull'altro, e poi ancora si gira... E tutti così insieme assomigliano proprio ad una famiglia di buoni tedeschi durante la passeggiata festiva. E nota ancora un'altra cosa, Nika: meno di tutti gli altri animali finiscono sotto le automobili le oche e i cani bassotti, che assomigliano a dei coccodrilli, ma è difficile decidere chi tra loro è più goffo nell'aspetto.

Oppure, prendiamo il cavallo. Che cosa ne dicono? Che il cavallo è stupido. Ha soltanto la bellezza, la capacità di correre velocemente e la memoria per i luoghi. E così, sarebbe stupido, oltre che miope, capriccioso, ipocondriaco e incapace di affezionarsi all'uomo. Ma questa sciocchezza la dicono gli uomini che tengono il cavallo in stalle buie, che non conoscono la gioia di educarlo da quando è un puledro, che non hanno mai sentito quanto il cavallo sia riconoscente a chi lo lava, lo pulisce, lo porta a ferrare gli zoccoli, gli dà da bere e da mangiare. Un tale uomo nella testa ha soltanto una cosa: sedersi in sella al cavallo e preoccuparsi che questo non gli tiri un calcio, non gli dia un morso, e non lo disarcioni. Non gli viene in mente di rinfrescare la bocca del cavallo, di servirsi durante il cammino di un sentiero più dolce, di farlo bere moderatamente al momento giusto, di coprirlo con una gualdrappa o con il suo cappotto durante la sosta...E allora perché il cavallo lo dovrebbe rispettare, ti chiedo io?

Piuttosto fa' domande sul cavallo a un qualsiasi cavallerizzo nato, e lui sempre ti risponderà che più intelligente, più buono, più nobile del cavallo non c'è nessun animale, ovviamente solo nel caso in cui si trovi in buone mani, di intenditori.

Gli arabi hanno i migliori cavalli che ci siano al mondo. Là il cavallo è un membro della famiglia. Gli affidano i bambini piccoli, come se fosse una balia fedele. E sta' pur certa, Nika, che un cavallo così schiaccia anche uno scorpione con lo zoccolo e stende a terra una bestia feroce. E se un marmocchio sporco si allontana lentamente a carponi da qualche parte verso i cespugli pungenti, dove ci sono i serpenti, il cavallo lo prende teneramente per il colletto della camiciola o per i pantaloni, e lo trascina alla tenda: "Non andare, scemotto, dove non si deve"

E a volte i cavalli muoiono nella nostalgia del padrone e piangono con lacrime vere.

Ed ecco come i cosacchi del Dnièpr cantavano il cavallo e il padrone morto. Il corpo stava disteso in mezzo al campo e

attorno a lui marciava la povera cavallina,
scacciava le mosche con la coda,
lo guardava negli occhi,
spruzzandogli saliva in viso.

Quindi? Chi tra loro ha ragione? Colui che cavalca solo quando è festa o colui che è cavallerizzo per natura?

Ah, tu comunque non ti sei dimenticata del gatto, vero? Bene, torniamo a lui. Dunque: il mio racconto si è quasi annullato nella premessa. Ecco, nell'antica Grecia c'era un minuscolo villaggio con delle enormi porte d'accesso. Un passante un giorno scherzò a riguardo con gli abitanti: state attenti alla vostra città, che non scivoli fuori dalle porte.

Peccato però. Io vorrei raccontarti ancora molte cose: di quanto siano attenti all'igiene e intelligenti i poveri diffamati maiali, di come le cornacchie sanno imbrogliare in cinque modi diversi un cane in catena, per portargli via il suo osso, di come i cammelli...

Va bene, basta, lasciamo perdere i cammelli, torniamo al gatto.

Yu-yu in casa dormiva dove voleva: sui divani, sui tappeti, sulle sedie, sul pianoforte in mezzo agli spartiti. Amava molto stare disteso sui giornali, infilandosi sotto al foglio che stava in cima: nell'inchiostro stampato c'è qualcosa di appetitoso per l'olfatto felino, inoltre, la carta conserva perfettamente il tepore.

Quando la casa iniziava a risvegliarsi, la sua prima visita (d'affari) la faceva a me, e soltanto dopo che il suo orecchio sensibile aveva captato la mattutina e pura vocina del bambino, che risuonava nella stanza vicino a me.

Yu-yu con il musetto e le zampe apriva la porta socchiusa, entrava, balzava sul letto, col suo nasino rosa mi batteva sulla mano o sulla guancia, e diceva

brevemente: “Murrm”.

In tutta la vita non miagolò mai, e pronunciò soltanto questo suono abbastanza musicale: “Murrm”. Ma esso conteneva sfumature di vario tipo, che esprimevano a volte cordialità, a volte allarme, a volte una richiesta, oppure rifiuto, riconoscenza, stizza, rimprovero. Un “murrm” breve però significava sempre: “Seguimi”.

Saltava giù a terra e, senza guardarsi indietro, andava verso la porta. Non dubitava della mia obbedienza.

Io gli davo retta. Mi vestivo di fretta, e uscivo nel corridoio buio. Facendo luce con i crisoliti giallo-verdi degli occhi, Yu-yu mi aspettava presso la porta che conduceva alla stanza dove spesso dormiva il bambino di quattro anni con sua madre. Io la aprivo un poco. L'appena udibile e grato “mrm”, il movimento ad “S” del corpo flessibile, lo zigzag della coda vaporosa, e Yu-yu sgattaiolava nella stanza dei bambini.

Lì si svolgeva il rito del risveglio mattutino. All'inizio, quasi come un omaggio ufficiale, c'era il salto sopra il letto dalla madre. “Murrm! Buongiorno, padrona!” Le accarezzava prima la mano e poi la guancia con il nasino, e basta; seguiva il salto sul pavimento, e poi oltrepassando la rete saltava nel letto del bambino. L'incontro era per entrambi dolce.

“Murrm, murrm! Ciao amichetto! Hai dormito bene?”

- Yu-yušen'ka! Yu-šen'ka! Fantastico Yu-šen'ka!

E una voce dall'altro letto:

-Kolja, ti è stato detto centinaia di volte, non azzardarti a baciare il gatto! Il gatto è un focolaio di microbi...

Ovviamente, qui, oltre la rete, sbocciava l'amicizia più leale e tenera. E tuttavia gatti e uomini sono soltanto gatti e uomini. Poteva Yu-yu non sapere, che Katerina avrebbe ora portato la panna e la pappa di grano saraceno con l'olio? Doveva saperlo.

Yu-yu non chiedeva mai nulla con insistenza. Se gli si dava qualcosa ringraziava brevemente e cordialmente. Ma il momento dell'arrivo e i passi del ragazzo della macelleria li aveva studiati a fondo, alla perfezione. Se era all'esterno, allora immancabilmente aspettava il cibo sul terrazzino d'ingresso, e se era in casa, correva in cucina dove c'era la carne. Apriva da solo la porta della cucina con incredibile destrezza. Sulla porta non c'era una maniglia tonda di osso, come nella stanza dei bambini, ma una di rame, lunga. Yu-yu con la rincorsa faceva un salto in alto e si appendeva alla maniglia, stringendola con le zampe anteriori da entrambi i lati, mentre con le posteriori si puntava alla parete. Due-tre spinte con tutto il corpo flessibile e- clack!- la maniglia cedeva e la porta si scostava. Il resto, era facile. Succedeva che il ragazzino restasse là a lungo, tagliando e pesando la carne. Allora per l'impazienza Yu-yu si

aggrappava con gli artigli al bordo del tavolo e iniziava ad ondeggiare avanti e indietro, come un acrobata da circo sulla sbarra. Ma in silenzio.

Il ragazzino era allegro, rosso in viso, uno sbadato che rideva facilmente. Amava con passione tutti gli animali, ma di Yu-yu era proprio innamorato. Tuttavia Yu-yu non gli permetteva neppure di sfiorarlo. Uno sguardo fiero, e balzava di lato. Com'era altezzoso! Non dimenticava mai che nelle sue vene scorreva sangue blu, che gli derivava da due rami: il grande ramo siberiano e il maestoso ramo di Bukhara. Il ragazzino per lui era soltanto qualcuno che ogni giorno gli portava la carne. Guardava con regale freddezza tutto ciò che era esterno alla casa, fuori dalla sua tutela e benevolenza. Noi, ci accettava affettuosamente. Io amavo adempiere ai suoi ordini. Per esempio, lavoravo nella serra, staccavo pensosamente ai meloni i polloni in più, cosa che richiede una grande precisione. Faceva caldo per via del sole estivo e della terra tiepida. Yu-yu si avvicinava senza far rumore.

“Murm!”

Questo significava: “Venite, ho sete”.

Mi raddrizzavo con difficoltà. Yu-yu mi era già davanti. Non si voltava verso di me neanche una volta. Avrei osato rifiutarmi o prendermela comoda? Mi conduceva dall'orto al cortile, poi in cucina, e poi attraverso il corridoio mi portava in camera mia. Cortesemente aprivo davanti a lui tutte le porte e rispettosamente lo facevo entrare prima di me. Giunti nella mia stanza, con leggerezza saltava sul lavandino, dove c'era l'acqua corrente, abilmente trovava sui bordi di marmo tre punti d'appoggio per tre zampe - la quarta stava sospesa per mantenersi in equilibrio - mi guardava al di sopra dell'orecchio e diceva:

“Murm. Aprite l'acqua”.

Io la facevo scorrere in un sottile rivoletto argentato. Allungando elegantemente il collo, Yu-yu leccava in fretta l'acqua con la linguetta rosa.

I gatti bevono di rado, ma a lungo e in grande quantità. A volte per scherzo (lett: scherzoso esperimento) stringevo leggermente il rubinetto di nickel fatto a manopola.

L'acqua scendeva a gocce.

Yu-yu era contrariato. Con impazienza si spostava ora su una zampa ora sull'altra nella sua scomoda posizione, girava la testa verso di me. Due topazi gialli mi guardavano con serio rimprovero.

“Murrum! Smettetela con i vostri stupidi scherzi !..”

E dava qualche colpo sul rubinetto con il naso.

Mi vergognavo. Chiedevo scusa. Facevo scorrere l'acqua abbondantemente.

Oppure un'altra situazione:

Yu-yu sedeva a terra davanti all'ottomana; vicino a lui c'era un foglio di giorna-

le. Io entravo. Mi fermavo. Yu-yu mi guardava fissamente con occhi immobili, senza battere le ciglia. Io lo osservavo. In questo modo trascorreva un minuto circa. Nello sguardo di Yu-yu io leggevo chiaramente:

“Voi sapete, di cosa ho bisogno, ma fate finta di non averlo capito. In ogni caso io non domanderò nulla”.

Mi chinavo per raccogliere il giornale e subito sentivo il rumore di un leggero balzo. Era già sull'ottomana. Il suo sguardo si era fatto più dolce. Facevo con il giornale un piccola capanna a due spioventi e coprivo il gatto. Fuori restava solo la coda vaporosa, ma questa un po' alla volta si ritirava, si ritirava sotto al tetto di carta. Due-tre volte il foglio scricchiolava, si muoveva, e poi basta. Yu-yu dormiva. Io uscivo in punta di piedi.

Io e Yu-yu abbiamo vissuto momenti particolari di tranquilla felicità familiare. Questo accadeva quando io scrivevo di notte: un'occupazione abbastanza stancante, ma se ci si abitua, ci si trova molta serenità. Scrivevo e scrivevo con la penna, all'improvviso non riuscivo a trovare la parola che mi serviva. Mi fermavo. Che silenzio! Il cherosene nella lampada friggeva in modo appena percettibile, risuonava il rumore del mare nelle orecchie, e questo rendeva la notte ancora più tranquilla. Tutti gli uomini dormivano, tutti gli animali dormivano, i cavalli, gli uccelli, i bambini e i giochi di Kolja nella stanza vicina. Anche i cani non abbaivano: si erano addormentati. Gli occhi si incrociavano, i pensieri si facevano indistinti e si disperdevano. Dov'ero io: in un bosco addormentato o sulla sommità di un'alta torre? E trasalivo a causa di una leggera e agile spinta. Era Yu-yu che con delicatezza era balzato dal pavimento al tavolo. Non si sapeva proprio quando fosse giunto.

Si rotolava un po' sul tavolo, indugiava, scegliendosi un posto, e si sedeva accanto a me, vicino alla mano destra, come un batuffolo morbido, con una gibbosità in corrispondenza delle scapole; tutte e quattro le zampe erano raccolte sotto il corpo e nascoste, soltanto le due anteriori, come guanti di velluto, sporgevano un pochino fuori.

Io scrivevo di nuovo in fretta e con piacere. A volte, senza muovere la testa, gettavo un'occhiata veloce al gatto, seduto vicino a me di tre quarti. Il suo enorme occhio color smeraldo era fisso sul fuoco, e di traverso, dall'alto in basso, c'era la nera fessura della pupilla, sottile come una lama. Ma Yu-yu riusciva comunque a cogliere immediatamente il minimo movimento delle mie ciglia e girava verso di me il suo grazioso musetto. Le pupille subito si trasformavano in brillanti cerchi neri, e intorno a loro vi erano sottili pietruzze color ambra. Va bene Yu-yu, continuiamo a scrivere.

Scriveva, scriveva scricchiolando la penna. Da sole giungevano le parole armoniose, adatte. Le frasi fluivano multiformi. Ma la testa si faceva già pesante, la schiena doleva, le dita della mano destra iniziavano a tremare: un crampo

all'improvviso le avrebbe potute torcere, e la penna, come un dardo affilato, sarebbe volata attraverso tutta la stanza. Non è forse giunta l'ora ?

Yu-yu pensava che fosse arrivato il momento. Già da un pezzo si era trovato un passatempo: seguiva attentamente le righe, che aumentavano sul mio foglio, seguendo la penna con gli occhi, e facendo finta con sé stesso, che io facessi uscire dalla penna piccole mosche, nere e deformi. E all'improvviso colpiva con la zampa l'ultima mosca. L'attacco era preciso e veloce: sangue nero si spargeva nel foglio. Andiamo a dormire Yu-yuška. Anche le mosche dormiranno fino a domani.

Dalla finestra si potevano già distinguere i contorni sfocati del mio bel frassino. Yu-yu si acciambellava sulle mie gambe nella coperta.

Si ammalò Kolja, caro amico di Yu-yu, e suo tormentatore. Oh, la sua malattia fu atroce; ancora adesso fa paura pensarci. Soltanto allora ho appreso quanto incredibilmente tenace sia l'uomo, e quali enormi, insospettabili forze egli possa manifestare in momenti di amore e morte. Gli uomini, Nika, credono ad una grande quantità di verità banali e opinioni comuni, che accettano così pronte come sono e che mai si prendono la briga di verificare. Per esempio, di mille uomini, novecentonovantanove ti diranno: "Il gatto è un animale egoista. Si affeziona alla casa, ma non all'uomo. Loro non credono, e nemmeno osano credere, a ciò che io ora ti racconto su Yu-yu. Tu, io lo so Nika, ci crederai!

Non lasciavano andare il gatto dal malato. Forse era giusto. Avrebbe potuto urtare qualcosa, farla cadere, svegliare il malato, spaventarlo. Per un po' fu necessario disabituarlo ad andare nella camera del bambino. Capi subito la sua situazione. In compenso, si stese, come un cane, fuori sul nudo pavimento, vicino all'ingresso, ficcando il suo nasino rosa nella fessura sotto la porta, e rimase così disteso durante quei giorni cupi, assentandosi soltanto per mangiare e per fare una breve passeggiata. Scacciarlo era impossibile. E dispiaceva pure. Mentre entravano e uscivano dalla camera del bambino, gli passavano sopra, lo urtavano con i piedi, gli calpestavano la coda e le zampe, a volte lo scagliavano via in fretta e furia e con impazienza. Lui emetteva solamente un gemito, liberava la strada e di nuovo tornava dolcemente, ma con insistenza, al posto di prima. A me finora non è mai capitato né di sentire, né di leggere che un gatto si comportasse in questo modo. I medici sono abituati a non meravigliarsi di nulla, ma persino il dottor Ševčenko un giorno disse con sorriso accondiscendente:

- Avete un gatto buffo. Fa la guardia! È divertente...

Ah, Nika, per me questo non era affatto né comico, né buffo. Fino ad oggi è rimasta nel mio cuore una tenera riconoscenza in memoria di Yu-yu per la sua compassione di animale..

Ed ecco ancora che cos'era strano. Non appena nella malattia di Kolja, do-

po l'ultima tremenda crisi, ci fu un miglioramento, e gli venne permesso di mangiare tutto e addirittura di giocare a letto, il gatto, con un istinto particolarmente sottile, capì che la morte dalle orbite vuote e senza naso aveva lasciato il capezzale di Kolja, stringendo le mandibole per la rabbia. Yu-yu lasciò il suo posto di guardia. A lungo e impudentemente recuperò il sonno perduto nel mio letto. Ma alla prima visita che fece a Kolja non dimostrò alcuna emozione. Lui lo stringeva e lo strapazzava, lo riempiva di svariati affettuosi nomi, e per l'entusiasmo arrivò addirittura a chiamarlo chissà perché Yuškevič. Lui si liberò abilmente dalle sue braccia ancora deboli, fece "murm", balzò a terra e se ne andò. Che autocontrollo, per non chiamarla tranquilla grandezza d'animo!..

Poi, mia cara Nika, ti racconterò delle cose alle quali forse non crederai. A chiunque l'abbia raccontato, ascoltavano con un sorriso un po' diffidente, un po' malizioso, un po' forzatamente garbato. Talvolta gli amici mi hanno detto direttamente: "Che fantasia avete voi scrittori! E' vero, si può provare invidia. Non è forse cosa possibile e inaudita, che un gatto si metta a parlare al telefono?"

E tuttavia così è stato. Ascolta, Nika, come sono andate le cose.

Kolja si alzò dal letto, magro, pallido, verde in viso; le labbra non avevano colore, gli occhi erano infossati, le manine erano quasi trasparenti, appena un po' rosate. Ma come ti ho già detto: grande ed inesauribile forza è la bontà d'animo umana. Si era riusciti a mandare Kolja, accompagnato dalla madre, in una bellissima casa di cura a circa duecento chilometri di distanza, affinché guarisse del tutto. Questa casa di cura poteva collegarsi telefonicamente con Pietrogrado con una linea diretta, e insistendo un po', poteva chiamare anche il nostro villaggio di dacie, e quindi il nostro telefono di casa. Tutto ciò lo comprese molto in fretta la mamma di Kolja, e un giorno, con gioia vivissima e grandissima sorpresa udii le care voci provenire dalla cornetta: prima una voce femminile, un po' stanca ed indaffarata, e poi una voce da bambino vivace e allegra.

Yu-yu dopo la partenza dei suoi due amici, la mamma e il bambino, stette a lungo in uno stato di ansia e perplessità. Andava per le stanze e ficcava il naso in tutti gli angoli. Girava senza scopo e diceva espressivamente: "Mik!" Per la prima volta nel corso della nostra lunga conoscenza gli sentii emettere questa parola. Che cosa significasse nel linguaggio felino, io non sono in grado di dirlo, ma nel linguaggio umano suonava più o meno così: "Che cosa è successo? Dove sono? Dove si sono cacciati?"

E mi guardava con gli occhi giallo-verdi spalancati; in loro leggevo stupore e una domanda perentoria.

Scelse di nuovo il pavimento come suo alloggio, nello stretto sgabuzzino tra il

mio scrittoio e l'ottomana. Inutilmente lo invitavo nella morbida poltrona o sul divano, lui rifiutava, ma quando ero io a portarcelo in braccio, dopo esserci rimasto per un minuto, garbatamente saltava giù e tornava nel suo scuro, duro e freddo angolo. Era strano: perché nei giorni di dispiacere lui puniva sé stesso così ostinatamente? Non voleva forse in questo modo punire noi, persone che gli erano vicine, che con tutta la loro onnipotenza non potevano o non volevano eliminare le disgrazie e i dolori?

Il nostro telefono si trovava nella minuscola anticamera sopra ad un tavolino tondo, e vicino a questo c'era una sedia di paglia senza schienale. Non mi ricordo, in quale tra i miei colloqui con la casa di cura ho sorpreso Yu-yu seduto ai miei piedi: so soltanto che questo accadde proprio all'inizio. Presto il gatto iniziò ad accorrere ad ogni squillo del telefono, e alla fine trasferì completamente la sua residenza nell'anticamera.

Gli uomini in generale sono assai tardi e lenti a capire gli animali; un animale invece è di gran lunga più veloce e abile a capire gli uomini. Ho compreso Yu-yu molto tardi, soltanto un giorno, quando nel mezzo della mia dolce conversazione con Kolja, lui senza far rumore è balzato dal pavimento sulle mie spalle, stando in equilibrio e sporgendo in avanti da dietro la mia guancia il suo musetto peloso con le orecchie tese.

Io ho pensato: "L'udito di un gatto è eccellente, in ogni caso migliore di quello di un cane, e assai più acuto di quello dell'uomo". Molto spesso, quando alla sera tardi rientravamo, Yu-yu, avendo riconosciuto da lontano i nostri passi, ci correva incontro oltre la terza traversa.

Ciò significa che conosceva bene le persone a lui familiari.

E ancora Žoržik, un bambino vispo di quattro anni che conoscevamo, venuto a farci visita per la prima volta, indispettì il gatto: gli accarezzava le orecchie e la coda, in tutti i modi lo strapazzava e andava con lui in giro per le stanze, stringendolo per il ventre. Questo lui non lo poteva sopportare, nonostante per sua abituale delicatezza non abbia tirato fuori gli artigli neanche una volta. In compenso ogni volta che žoržik veniva, che fosse dopo due settimane, dopo un mese, o anche di più, era sufficiente che Yu-yu sentisse la sua vocina squillante, che risuonava già all'ingresso, perché si precipitasse a mettersi in salvo con un grido lamentoso; in estate saltava fuori dalla prima finestra aperta, in inverno sgattaiolava sotto il divano o sotto il comò. Indubbiamente, aveva una buona memoria.

"Quindi cosa c'è di strano – pensavo io – nel fatto che riconosceva la cara voce di Kolja e si protendeva per vedere dove si era cacciato il suo migliore amico?" Desideravo fortemente verificare la mia supposizione. Quella stessa sera scrissi una lettera alla casa di cura con la descrizione particolareggiata del comportamento del gatto, e pregai Kolja che la volta successiva, parlando con

me al telefono, si ricordasse senz'altro di dire tutte le tenere parole che a casa rivolgeva a Yu-yu. Io avrei avvicinato la cornetta all'orecchio del gatto.

Ben presto ricevetti risposta. Kolja era commosso per il fatto che Yu-yu si ricordava di lui e chiedeva di salutarlo. Dopo due giorni avrebbe parlato con me dalla casa di cura, e il giorno dopo ancora si sarebbero preparati, avrebbero fatto le valigie e sarebbero tornati a casa.

E infatti due giorni dopo il telefono mi annunciò che era in arrivo una chiamata dalla casa di cura. Yu-yu mi stava accanto a terra. Io lo presi sulle mie ginocchia altrimenti sarebbe stato difficile gestire le due cornette. Cominciò a risuonare allegra e viva la voce di Kolja nel ricevitore di legno.

Quante nuove emozioni e novità! Quante domande riguardanti casa, quante richieste e disposizioni! Io a malapena riuscii a introdurre nel discorso la mia richiesta: - Caro Kolja, io ora appoggio all'orecchio di Yu-yu la cornetta del telefono. Tieniti pronto! Digli delle parole piacevoli.

- Quali parole? Io non conosco nessuna parola,- rispose malinconicamente la vocina.

- Kolja, caro, adesso appoggio all'orecchio di Yu-yu la cornetta. Ecco fatto! Digli qualcosa di affettuoso.

- Quali parole? non ne so neanche una – risuonò la vocina annoiata.

- Non lo so-o. Non rico-or-do. Mi compri la casetta da mettere all'esterno per gli uccelli, come quelle che abbiamo qua appese alla finestra?

- Dai, Kolenka, su tesoro, su da bravo bambino, hai promesso di parlare con Yu-yu.

- Io non so parlare nel linguaggio dei gatti. Non ci riesco. Mi sono dimenticato. Nella cornetta all'improvviso qualcosa schioccò, ci fu un grugnito, e risuonò la voce severa della centralinista:

- Non si possono dire scemenze. Riattaccate. Altri clienti sono in attesa.

Ci fu un leggero rumore, e il sibilo del telefono cessò.

Così non riuscì il nostro esperimento con Yu-yu. Peccato. Mi interessava così tanto sapere se il nostro intelligente gatto avrebbe risposto o no con il suo tenero "murrum" alle dolci parole che ri conosceva.

Ecco, questo è tutto per quanto riguarda Yu-yu.

Non molto tempo fa è morto di vecchiaia, ed ora da noi vive un gatto viziato³, dal ventre di velluto. Riguardo a lui, cara la mia Nika, ti racconterò un'altra volta.

3. Deriva dalla favola popolare russa intitolata "Кот-воркот, Котофей Котофеевич".

3.3 Zavirajka - Anima di cane (1928)

3.3.1 Завирайка - Собачья душа

Это было не только до эмиграции, но даже до революции, даже еще года за четыре до великой войны, право, мне иногда кажется, что случилась эта история лет сто или двести назад.

Я тогда зарылся на всю зиму в новгородскую лесную глушь, в запущенное барское имение Даниловское. В моем распоряжении был старинный деревянный дом в два этажа и в четырнадцать больших комнат. Отопить его весь – нечего было и думать, хотя дрова были свои и – в любом количестве. Поэтому топил я ежедневно только одну комнату, самую из них малую, в которой жил, работал и спал, топил ее собственноручно, так же как сам и подметал ее, и ставил себе самовар, и оттаивал воду для умывания. Никто из соседнего крестьянства не соглашался идти ко мне для услуг или на кухню: ни бабы, ни мужики, ни парнишки, хотя у меня с деревенскими и были прекрасные отношения, хотя крестьянство здесь и считалось бедноватым, хотя я и сулил за пустячную службу царскую плату, подумайте: целых три рубля в месяц.

Обегали вовсе не меня, а именно тот большой, старый, серый с белыми колоннами дом, в котором я жил. Во всех соседских деревнях: в Трестенке, Бородине, Никифорове, Осиновке, Высотине, Свистунах да, пожалуй, во всем Устюженском уезде, – каждый мужик твердо знал и крепко верил, что в даниловском доме на чердаке находится черный гроб, а в гробе этом лежит огромная страшная мертвая нога и что по ночам нога эта ходит по всему дому и горько плачет, взывая о погребении.

Сколь эти рассказы ни казались вздорными, однако – странно сказать – в них была доля истины. Однажды, роясь на чердаке среди пыльного векового мусора, я наткнулся на солидный черный ящик с застезками, формой похожий не то на футляр для какого-то музыкального инструмента, а, пожалуй, и на гроб. Я открыл его. В нем действительно лежала нога, но вовсе не мертвая, а искусственная, прекрасно сработанная, со ступней, все как следует, и обтянутая превосходной толстой голландской замшей. Тут же я нашел и костыль к ней. Судя по размерам этих вещей, я убедился, что ими пользовался когда-то человек большого на редкость роста. Позднее я даже узнал, кому из героев войны 1812 года она служила при жизни: генералу Кривцову, другу Пушкина. Он потерял свою естественную ногу в бою под Кульмом. Это ему писал Пушкин: «Ты без ноги, а я женат, или почти. . . ».

Как бы то ни было, благодаря «Мертвой Ноге» я в этом огромном до-

ме был осужден на одиночество, в условиях Робинзона до его встречи с Пятницей. Зато я смело мог бы держать все двери в доме раскрытыми настежь, если бы, конечно, не глубокая зима и не пронзительные ветры, которые и без того гуляли по двум этажам и по чердаку ветхого столетнего дома, воя в трубах, визжа в щелях, свистя в дырявых рамах. Признаюсь, порою по ночам и мне становилось жутковато. . .

Кроме меня, обитал в усадьбе, через двор от меня, в маленьком низеньком флигельке, управляющий Арапов: там же ютилась экономка, она же и стряпуха, престарелая Елена Степановна, да еще по утрам рубил дрова, крикая и кашляя, какой-то дедушка Иван: где он ночевал – не знаю: похож он был на рождественского деда Мороза.

Арапов ко мне по вечерам никогда не заглядывал. Он тоже слышал о «Нюге». Его боязливость меня удивляла: был он раньше, во время японской войны, храбрым матросом, принимал участие в Цусимском бое, спасал свою жизнь вплавь после того, как корабль взорвали, и был выловлен из воды японцами, взявшими его в плен.

Я у него обедал и ужинал. Днем он иногда забегал ко мне – у меня находился склад пороха, дроби, шомполов, пистонов и разных машинок для снаряжения патронов. Но он очень бывал недоволен, когда я предлагал ему лично удостовериться в том, что в черном ящике лежит обыкновенное изделие рук человеческих из дерева и замши. Он каждый раз отворачивался, отмахиваясь, тряс головой и кричал:

– Умоляю вас, умоляю, не надо!.. Видеть не могу мертвецов!.. – Ничего я с ним не мог поделать.

Но был Арапов страстным охотником и, что еще важнее, хорошим товарищем на охоте. А охотиться мы стали не только для удовольствия, но и по нужде. Ежедневная каша с пустыми щами и солонина надоели. Мяса негде было достать. Между тем всякому известно, что заяц, проштигованный салом и чесноком да сжаренный в сметане, представляет собою вовсе не дурное блюдо. Счастье наше было, что мужики зайца не едят, считают его дикою кошкой и веруют, что взят он был Ноем в ковчег в качестве одной из нечистых пар. Иначе зайцы давно бы перевелись на Руси.

Я приехал в Даниловское позднею осенью, в ту пору, когда в лесах опавший лист уже слежался на тропинках и почернел. Охота в такое время называется охотою по чернотропу, весьма интересна. Но – беда! – собак в Даниловском совсем не было, за исключением, конечно, тех негодных дворняг и дворняжек, которыми так богата бывала каждая русская усадьба. Едучи в Даниловское (уже не в первый раз), я надеялся достать хоть неважного выжлеца, хоть плохонькую выжловку у Александра Семеновича Трусова, у этого «Великого Охотника», у этого «Длинного Карабина»,

«Кожаного Чулка» и «Следопыта», у этого кротчайшего из людей, который убил в своей жизни шестьдесят четыре медведя, десятки рысей и лосей, сотни волков и лис и тысячи зайцев. Но еще в Восьегонске узнал я от ямщика, Сергея Пятнышкова, что волею Божьей Александр Семенович скончался в прошлом мае, а огорченная вдова всю его знаменитую охоту распродала, чтобы не тревожить сердца видом былых мужниных воспитанников и любимцев.

Что за охота без гончей? Да, я знаю, есть любители «тропить» «зайца». Найдут свежий его след на снегу: две лапки рядом, две лапки одна за другой, и идут по следу, как по тропке, пока не найдут лежачего и не застрелят его. Ведь он бежит только ночью, а весь день лежит. Но так охотятся – извините за выражение – шкурятники. У них много терпения, но вдохновения и поэзии ни на грош. . .

Вот мы с Араповым и мечтали все о выжлеце. И как с кем встретимся или кто в Даниловское наедет, непременно клянчим: «Может, о гончей собачке где прослышите, так постарайтесь, душенька, для нас. И мы вам, когда понадобится, за услугу услугой, не считая того, что зайчишек вам будем при всякой оказии посылать».

Провинция, уезд, деревня – это особая страна: там мельчайшие слухи и вести растекаются во все стороны не хуже радиотелеграфа. Уже осень стала совсем холодной, густой по утрам иней серебрил поля и пудрил деревья, и мороз тонким ледяным лаком затягивал морщинистые пруды. Наконец, однажды ночью пошел снег, и, проснувшись, мы увидели из окон белую зиму. Первая пороша! Как дрожат охотничьи сердца при звуках этих двух слов!

В эту же первую порошу как раз и случилось чудо. К обеденному времени заехал в Даниловское из деревни Круглицы (десять верст от нас) круглицкий почт-директор, он же почтмейстер, он же единственный чиновник и единственный почтальон почтового отделения, козлобородый, длинный и многодетный Голованов. У меня по тем сонным местам и временам была невиданно большая корреспонденция. Поэтому Голованов, вместо того чтобы, по тамошнему обычаю, посылать мне почту с любым попутным ямщиком, предпочитал привозить ее лично. Впрочем, может быть, были и другие причины такой любезности.

Он по скромности долго отнекивался, но все-таки мы усадили его за стол, разогрели солонину, нашелся кусок старой железной колбасы, графинчик водки и бутылка пива. Тут-то, придя в радужное настроение, почт-директор хлопнул себя по коленам и воскликнул:

– Да! Чтобы не забыть! Говорят, вы для охоты собачку приискиваете? Так вот, у нас в Козлах, на выселках, живет вдовая женщина, вроде как одно-

дворка, и у нее имеется довольно ладный кобелек, гончак, годов двух, не боле. Это от самого покойного Александра Семеновича ей подарок, щенком еще выпросила. Теперь на чепе он сидит. Она, может, и согласится продать? Попробуйте. Если хотите, я с ней поговорю? А то поедемте сейчас со мною.

Мы попили чайку и поехали на головановской двухколесной трясушке. Езды всего было полтора часа до крошечной усадьбы, стоявшей сбоку деревни, как бы на отлете. Мы въехали в широкий чистый двор. Там, у столба, привязанный на длинной цепи, метался и отчаянно лаял отличный гончий пес, блестяще-черный, с густо-рыжими подпалинами, рослый и широкогрудый. Я никогда не похваюсь, что подойду к любой цепной собаке. Но если по одному взгляду и по звуку голоса я определяю, что лает пес умный, неозлобленный и незабываемый, то иду без всякого колебания. В этих случаях надо только не забыть, что, протягивая собаке руку, следует держать ее вверх ладонью, притом широко открытой, чтобы собака убедилась, что камня в ней не спрятано.

Старая женщина, вышедшая на крыльцо, крикнула:

– Ты поберегись, кормилец! Он тебя загрызет!

Но собака не тронула меня. Обнюхала руку и, туго натянув цепь, уперлась мне в грудь мускулистыми передними лапами. Кусок солонины, который я предусмотрительно взял с собою, был принят благосклонно и проглочен мгновенно, а хвост выразил самую размашистую признательность. И тут-то я обратил внимание на глаза этой собаки. Они были ярко-рыжего цвета, живые и серьезные. Их взгляд был тверд, доверчив и пронизателен, без малейшего оттенка угодливости. Они не бегали, не моргали, не прятались. Казалось, они настойчиво спрашивали меня: «Зачем я живу здесь, посаженный на цепь? Зачем ты пришел ко мне? Ведь не со злом?». Так умеют смотреть лишь лохматые пастушьи собаки в горах.

Затем я познакомился с хозяйкой, Анной Ивановной. Узнав, что я хочу купить пса, она раскудаhtалась: «Ах, да как же это! Ах, да я не знаю. Уж больно пес-то хорош. Завирайка-то. Таким псам цены нет, если на охотника. Ведь из трусовской псарни собачка, самого Александра Семеныча. Порода-то какая. . . » Потом сделала скорбное лицо, помолчала, вздохнула и спросила с сомнением:

– Трешницу не дадите?

Три рубля я охотно дал. Предлагала она еще и цепь за один рубль. От цепи я отказался. Но из вежливости набавил этот рубль за старый, никуда не годный ошейник. Тут вдова сразу повеселела и не хотела меня отпустить без того, чтобы я не испробовал ее домашнего пива. Пришлось выпить с нею ковшик густой, как кисель, солодовой бурды, помянув доб-

рым словом память покойного «Великого Охотника» Трусова. Расстались мы приятелями. «Если тебе собака не на цепь, а для охоты, то лучше кобеля не найти нигде».

Я пошел домой пешком, ведя Завирая на веревке. Но он шел со мной так послушно, охотно и весело, что я спустил его на свободу. Он с явным наслаждением бежал впереди, роясь носом в молодом снегу, спугивая с дороги воробьев. Но стоило мне свистнуть или окликнуть его по имени – он тотчас же останавливался и поворачивался ко мне поднятой кверху мордой с внимательными яркими глазами. Я махал рукой, говорил: «Иди», – и он опять пускался вперед. «Что за чудный пес!» – ликовал я.

Но в воротах я принужден был снова взять его на веревку, потому что со всех концов усадьбы сбегалось все собачье население: и Патрашка, и Жучка, и Султан, и Рябчик, и Кадошка, и Барбоска, и Чирипчик, и Серко, и – кладбищенского сторожа – Чубарик, помесь таксы и борзой. У собак есть рыцарское правило: собаку лежащую или на привязи не трогают. Однако лай и руготню даниловские собачонки подняли ужасающую. Завирайка прижимался ко мне боком, нервно приподымал верхнюю губу, показывал из нее белый огромный клык и, оборачиваясь на меня, ясно говорил выразительными глазами: «А что? Не задать ли им трепку?»

Арапов был в восторге. Ему только не понравилось простонародное имя – Завирай. «Гораздо лучше бы, – говорил он, – назвать его Милордом, или Фиделем, или Жужой». Дело в том, что он состоял подписчиком «Петербургского листка» и больше всего на свете обожал великосветские романы княгини Бебутовой. Но я не уступил.

Зато мне пришлось уступить ему в другом. Я уже, глядя на Завирайку, лакомился мыслью, что нашел в нем для моего Робинзона житья в четырнадцати нежилых комнатах своего Пятницу. Однако Арапов правильно указал на то, что, во-первых, гончую собаку трудно приучить к комнатной опрятности, а во-вторых, в тепле собака изнеживается, теряет чутье и на охоте легко простуживается. Мы решили постелить для Завирая сена под навесом у кухни. Впоследствии, когда зима установилась прочно и настали холода, мы сделали из снега большой трехсторонний вал, примкнув его к стене флигеля и оставив узенький вход. Сверху мы покрыли это сооружение крышей из соломы. Конечно, со временем все усадебные псы устроили в этом домике, под покровительством Завирая, общую уютную спальню и чувствовали в ней себя превосходно. Бывало, в жестокий мороз, вечером, просунешь руку внутрь сквозь солому, и, просто прелесть, какая там бывала живая густая теплота. Одним словом – собачий рай.

В тот день нам не пришлось охотиться: день стоял теплый, и снег раскис,

а назавтра хватил холодок, сделалась гололедица. Потом пошли метели. Все не везло нам с погодками.

Дней через десять повалил наконец тихий, крупный, мохнатый снег. Из-за его сплошной сетки не стало видно ни деревень, ни леса. Шел он целый день и к вечеру вдруг перестал, точно улегся спать в глубокой тишине, неподвижности и тьме.

Утром, чуть свет, мы вышли в поле. Был легкий холодок. Солнце взошло, точно праздничное. От него снег казался розовым, а тени деревьев нежно-голубыми. Заячьих следов было великое множество, а вокруг стогов снег прочно был притоптан лапками «жировавших» ночью зайцев.

Но Завирайка... Завирайка совсем огорчил нас. Напрасно мы навели его на самые свежие, еще казавшиеся теплыми следы, тщетно мы его тыкали в них носом, указывали руками направление, уговаривали и умоляли его. Он глядел, высоко подняв голову, то на меня, то на Арапова и говорил настойчивым взором: «Я готов слушаться, но объясните цель. Зачем?»

Так промучились мы с ним три дня. Говорил иногда Арапов: «Запустить бы ему заряд картечи под левую лопатку. Да жаль, он и патрона не стоит... Вообще никуда не годный пес». Но – врал впопыхах, со злости. Вне охоты относился к собаке заботливо.

А на четвертый день вот что произошло.

Только вышли мы из усадьбы на малую горушку, где начинались крестьянские выгоны, как Завирай остановился и начал нюхать снег, яростно болтая хвостом. Помню, Арапов сказал: «Должно быть, дурак, мышь земляную почуял». Но в ту же секунду из снега выскочил столбом огромный палевый русак и помчался вперед, точно бешеный. Вряд ли за ним угналась бы и борзая собака.

Завирай был великолепен.

Он не растерялся, не замялся, не потерял ни одного мгновения: он в ту же секунду бросился за русаком, и скоро мы потеряли его из вида. Еще прошла минута – мы услышали его голос... Знаете, как гончая лает, идя за зайцем?

Она, бедная, все жалуется: «Ай, ой, ай! Батюшки, меня обижают! Что мне, ай, ай, бедной, делать? Ай, ай, ай!». Слышно было, что Завирайкин лай повернут направо. Тут была рука Арапова, и он начал, изготовив ружье, продвигаться вправо. Гон Завирайки становился все тише, почти умолк, но вдруг едва слышно возобновился и сразу стал слышным и яростным.

Я стоял со стороны, и мне все было слышно и видно. Я видел, как Арапов прицелился. Потом из кустов выскочил светло-бурый заяц. Тотчас же белый дымок вырвался из араповского ружья, и одновременно с ним заяц перекувырнулся через голову и лег в снег. Потом раздался слабый – пук!

– это был выстрел. И потом уже из кустов вырвался громко плачущий Завирай.

Он с разбега ткнулся в заячье тело и тут же присел на зад. Когда мы подошли к нему, он представлял комически печальное зрелище: наморщенная морда опущена вниз, уши висят, общий вид скорбный – ну, ни дать ни взять лицемерная вдова. Но когда я ему бросил заячью лапку, тот самый сустав, который дамы употребляют для румян, – он поймал ее на лету, сочно хрустнул ею и мгновенно проглотил. И с этого момента он сделался первоклассным гончим псом. В то же утро он без всяких наших намеков и указаний стал сам разыскивать заячьи следы, гнал зайцев чутко и безошибочно: и с охотничьей страстью умел соединять хладнокровный расчет. Он выгнал на нас в этот день еще четырех зайцев; одного из них во второй раз положил Арапов, другого – я. И над каждым из них он неизменно (как и всегда потом) устраивал фигуру грустной вдовы. . . Вскоре он стал знаменитостью на весь уезд, но слава не испортила его кроткого и чистого характера.

А сейчас я расскажу об одном случае, в котором Завирай проявил такую преданную дружбу, такую силу доброй воли и такую сообразительность, какие и среднему человеку сделали бы большую честь.

Зима переламывалась. Откуда-то издалека стало попахивать весной. Мы с Араповым выбрали одно весеннее утро, чтобы, может быть, в последний раз до будущей осени пойти по зайцам. Завирая не надо было приглашать. Он пошел с нами со всегдашней своей сдержанной, серьезной радостью. И, конечно, увязалась за нами вся эта непрошенная, бестолковая деревенская собачня: и кладбищенский Чубарик, и Серко, и Султан, и Кадошка с Барбоской, и Султан с Патрашкой, – словом, все, кто только умел и мог мешать охоте.

Работал-то всегда один только Завирайка со свойственной ему неутомимой и требовательной энергией. Независимые дворняжки охотились сами по себе. Они обнюхивали ежовые, кротовые и мышьи норы и пробовали их разрывать лапами, лаяли на свежий птичий и заячий помет. Очень скоро мы их перегоняли, и они совсем терялись из вида. «Вообще, – говорил не раз Арапов, – эту сволочь надо бы давным-давно перестрелять». Но – шутил. Он был добрейшим малым.

Однако в этот день мы не увидели ни разу даже заячьего хвоста. Все поля, лужайки, лесные тропки были сплошь избеганы и перетоптаны зайцами, но определить, новые это следы или старые – не было никакой возможности. Завирайка рылся носом в снегу и отчаянно фыркал. Бросив след,

он опять возвращался к нему, снова нюхал, недоумевая, и потом, повернувшись к нам, устремлял на нас свои ярко-рыжие глаза. Он будто бы говорил нам: «Ну хорошо, ну пошли мы за зайцами, но где же, о мудрецы, о огненные люди, где наши зайцы?»

Мы зашли далеко. Стало уже смеркаться. Мягкий снег липнул на валенках, и они промокли. Мы решили пойти домой. Прощайте, зайцы, до будущего чернотропа. Завирай разочарованно бежал впереди.

На выгоне, как и всегда, присоединилась к нам вся свора анархических дворняг. Им трудно было идти. Рыхлый снег набивался твердыми комками под лапы, и надо было эти комки ежеминутно выкусывать.

Мы уже почти подходили к усадьбе, как вдруг беззвучно начал падать с темного неба густой крупный снег. В несколько минут он покрыл все следы: и заячьи, и человечьи, и санные, и так же скоро перестал.

Дома я переоделся. Мне оставалось еще полчаса до ужина и до обычного преферанса вдвоем, «по-гусарски». Я просматривал старинную книгу Светония «Двенадцать цезарей», с двумя параллельными текстами, французским и латинским.

В окно мне постучали. Я прильнул к стеклу и увидел Арапова. Он тревожно вызывал меня. Я знал, что ночью он не решится войти в большой дом, по причине «Мертвой Ноги», и потому, наскоро надев тулупчик, вышел на двор.

Арапов был очень обеспокоен:

– Пожалуйста... Я не знаю, что мне делать с Завирайкой. Если бы не зима, я подумал бы, что он взбесился. Посмотрите-ка.

Завидев меня, Завирайка бросился ко мне. Он прыгал ко мне на плечи, рвал полы моего тулупчика и тянул меня, упираясь передними ногами в снег и мотая головой.

– Мне кажется, что он почуял волка, – догадался я. – Подождите, я перезаряжу ружье картечью, и пойдем, куда он поведет.

Увидев ружье, Завирай радостно запрыгал. Он побежал вперед, но при выходе из усадьбы остановился и поджидал нас, нетерпеливо махая хвостом. Мы шли за ним. Очевидно, он держал верный, памятный ему путь: это была та самая дорога, которой мы только что возвращались с охоты, – теперь гладкая и чистая от свежего снега.

– Подождите-ка, – сказал Арапов. – Подержите немного Завирая. Я посмотрю следы.

И через несколько минут он крикнул мне:

– Ясно, как палец! Туда и сюда ведут Завирайкины следы. Надо думать, что после прихода домой он сбегал куда-то и вернулся назад.

Конечно, не волк волновал Завирая, иначе он скулил бы. Мы продолжали

следовать за ним, и он теперь вел нас спокойно и уверенно, отлично поняв, что мы его слушаемся.

Так мы прошли верст пять-шесть и, наконец, издали услышали тонкий, тихий, жалобный визг. Он становился с каждым шагом все яснее, пока мы не убедились, что это визжит небольшая собачка. Скоро при мутном свете расплывчатого месяца мы увидели небольшой снежный бугор. Завирайка начал ретиво метаться от этого бугра к нам и обратно и весело лаял. Когда мы подошли совсем близко, то без труда нашли бедного злополучного Патрашку.

Оказывается, он попал в заячий капкан, поставленный в подлеске бородинскими мужиками.

Заячий капкан, конечно, не мог бы переломить собачью ногу, и, не будь снег талым, Патрашка дотащился бы как-нибудь до усадьбы. Но липкий, сырой, мягкий снег с каждым новым волочащимся шагом Патрашки все более и более набухал на капкане, пока не обратился в огромный ком, которого небольшая собачка уже не могла стронуть с места.

Мы высвободили Патрашку, и он, прихрамывая и повизгивая, заковылял позади нас в усадьбу.

Завирайка всю дорогу не мог успокоиться и отчаянно-весело лаял. Он кидался передними лапами на грудь то ко мне, то к Арапову и все норовил лизнуть нас в губы и тотчас же бежал назад к Патрашке, чтобы облизать его с хвоста и с головы. Милая, бескорыстная собачья радость!

За ужином мы долго говорили об этом происшествии. Странно: мы – люди, мы – цари вселенной, мы, умеющие считать до тысячи, не заметили по дороге отсутствия Патрашки, а Завирайка всего только собака – сообразил эту нехватку, уже придя домой. И что заставило его пойти на розыски приятеля: сознательный ум или темный, но верный инстинкт?

3.3.2 Zavirajka - Anima di cane

Quel che segue accadde non soltanto prima dell'emigrazione, ma anche prima della rivoluzione, addirittura quattro anni prima della Grande Guerra; a dire la verità, a volte mi sembra che questa storia abbia avuto luogo cento o duecento anni fa.

Io allora mi ero ritirato per tutto l'inverno in un angolo sperduto di un bosco nei pressi di Novgorod, in una tenuta signorile semiabbandonata di nome "Danilovskoe". A mia disposizione c'era una vecchia casa di legno a due piani con quattordici grandi stanze. Non c'era neanche da pensare di riscaldarla tutta, nonostante la legna fosse di mia proprietà e in quantità illimitata. Per questo ogni giorno scaldavo soltanto una stanza, la più piccola di tutte, nella quale vivevo, lavoravo e dormivo, la riscaldavo da solo, e allo stesso modo la

spazzavo, preparavo il samovar, e scongelavo l'acqua per lavarmi. Nessuno dei contadini che abitava nei paraggi accettava di venire a servire in casa mia o a lavorare in cucina: né donne, né uomini, né ragazzini, nonostante fossi in ottimi rapporti con gli abitanti del villaggio, e i contadini di qui fossero ritenuti poveri; e sebbene io promettessi in cambio di un servizio di poco impegno una paga da re, pensate: ben tre rubli al mese.

Stavano alla larga da me, nient'affatto, ma da questa grande, vecchia e grigia casa con le colonne bianche, nella quale vivevo. In tutti i villaggi vicini, a Trestenka, Borodino, Nikiforovo, Osinovka, Vysotino, Svistuny, e in tutto il distretto di Ustjug, ogni cittadino sapeva e credeva con convinzione, che nella soffitta della casa di Danilovskoe si trovava una bara nera, e che in questa bara c'era vecchia gamba morta di grandi dimensioni, che di notte camminava per tutta la casa e si lamentava amaramente, invocando la sepoltura.

Per quanto questi racconti sembrassero assurdi, è strano a dirsi, c'era in loro una parte di verità. Un giorno, rovistando in soffitta in mezzo a montagne di oggetti vecchissimi coperti di polvere, mi imbattei in un'imponente cassa nera con delle fibbie, dalla forma simile un po' alla custodia di un qualche strumento musicale, e forse anche ad una bara. Io la aprii. Al suo interno c'era realmente una gamba, ma non di carne e ossa, bensì artificiale, di finissima fattura, con tanto di piede come si deve, rivestita di pregiato e spesso camoscio olandese. Qui trovai anche la stampella che la accompagnava. A giudicare dalle dimensioni di quegli oggetti, mi persuasi che li usava un tempo un uomo estremamente alto. In seguito venni a sapere a quale eroe della guerra del 1812 era servita: al generale Krivcov, amico di Puškin. Costui perse la sua vera gamba nella Battaglia di Kul'm. Ecco cosa gli scrisse Puškin: "Tu sei senza gamba, e io sono sposato, o quasi!.."

In ogni caso, grazie alla "Gamba Morta" io ero condannato alla solitudine in quell'enorme casa, come Robinson Crusoe lo era stato prima del suo incontro con Venerdì. In compenso, potevo tenere tutte le porte di casa ben spalancate, a meno che, ovviamente, non fosse pieno inverno e non ci fossero i venti taglienti a circolare, anche così, attraverso i due piani e per la soffitta della casa decrepita e vecchia di cent'anni, ululando nelle grondaie, fischiando nelle fessure e sibilando negli infissi bucherellati dalla tarma. Ammetto che talvolta di notte anch'io cominciavo ad avere paura...

Oltre a me, nella tenuta, a un cortile di distanza, nella piccola dépendance dal soffitto basso, abitava l'amministratore Arapov; anche Elena Stepanovna, economista assai anziana e cuoca, viveva là; e c'era ancora un certo vecchio Ivan, che spaccava la legna di mattina, grugnendo e tossendo; non ho idea di dove costui passasse la notte; assomigliava a Babbo Natale.

Arapov di sera non veniva mai a trovarmi. Anche lui aveva sentito parlare

della “Gamba”. La sua vigliaccheria mi meravigliava: un tempo, durante la guerra russo-giapponese, egli era stato un valoroso marinaio, aveva preso parte alla battaglia di Tsushima, si era tratto in salvo a nuoto, dopo che la nave era stata fatta esplodere, ed era stato tirato fuori dall’acqua dai giapponesi, che se lo erano caricati in spalla.

Pranzavo e cenavo da lui. Durante il giorno ogni tanto faceva un salto da me: avevo un magazzino di polvere da sparo, pallini da fucile, scovoli, detonatori, e altri meccanismi per equipaggiare i caricatori. Egli però non era affatto contento quando gli proponevo di accertarsi di persona che nella cassa nera c’era un normale manufatto umano di legno e camoscio. Egli ogni volta si girava dall’altra parte, allontanandomi con le mani, scuoteva la testa ed esclamava: - Vi supplico, vi supplico, non è necessario!.. Non riesco a sopportare la vista dei morti!..- Non ci potevo fare nulla.

Tuttavia Arapov era un cacciatore appassionato, e, cosa ancora più importante, era un buon compagno di caccia. Iniziammo ad andare a caccia non solo per piacere, ma anche per necessità. La kaša⁴ che mangiavamo ogni giorno con la misera minestra di cavoli e la carne salata ci avevano stancato. Non si riusciva proprio a trovare un po’ carne. Tutti sanno che la lepre, condita con il lardo e l’aglio e fritta nella smetana⁵, non è affatto una cattiva pietanza. Per nostra fortuna i contadini non mangiavano la lepre, la consideravano un gatto selvaggio e credevano che a fosse stato Noè a portarla con sè nell’arca come uno degli animali impuri. Altrimenti, le lepri già da molto si sarebbero estinte nella Rus’.

Io giunsi a Danilovskoe alla fine dell’autunno, nel momento in cui nei boschi le foglie cadute sono già compattate lungo i sentieri e si sono annerite. La caccia in questo periodo viene definita “caccia lungo il sentiero nero” ed è molto interessante. Ma, ahimè, a Danilovskoe cani non ce ne erano proprio, ad eccezione, ovviamente, di quegli inutili cani bastardi, di cui ogni tenuta russa era piena. Mentre raggiungevo Danilovskoe (non già per la prima volta), speravo di procurarmi almeno un mediocre levriero maschio, almeno una femmina bruttina da Aleksandr Semenovič Trusov, da questo “Grande Cacciatore”, “Lunga Carabina”, “Calza di Cuoio” e “Pioniere”, da quest’uomo estremamente benevolo, che aveva ucciso nella sua vita sessantaquattro orsi, decine di linci e alci, centinaia di lupi e volpi e migliaia di lepri. Ma già a Ves’egonsk venni a sapere dal

4. È una pappa composta solitamente da grano saraceno. Comune da secoli in quasi tutta l’Europa orientale (Russia, Polonia, Ucraina)

5. Panna resa acida con metodi naturali, diffusa nella parte orientale dell’Europa, e usata per piatti sia salati che dolci.

vetturino Sergej Pjatyškov, che per volere divino, Aleksandr Semenovič era mancato a maggio dell'anno precedente, e che la sua addolorata vedova aveva venduto tutto il branco di cani da caccia, in modo da non soffrire alla vista dei cani beniamini che erano stati sotto la protezione del marito.

Come andare a caccia senza segugi? Sì, lo so, ci sono quelli che amano cacciare avanzando lungo i sentieri. Trovano le impronte della lepre nella neve: due zampette vicine, una dietro l'altra, e le seguono, come procedendo lungo un percorso, finché non la trovano distesa a terra e le sparano. D'altronde questa corre soltanto di notte, e tutto il giorno si riposa. Cacciare così però, scusate per l'espressione, è da scuoiatori⁶. Hanno molta pazienza, ma estro e arte per niente.

Così io e Arapov sognavamo di avere un cane da caccia. E non appena incontravamo qualcuno, o qualcuno giungeva a Danilovskoe, immancabilmente chiedevamo come mendicanti: "Se da qualche parte sentite parlare di un segugio, allora, mio caro, cercate di farcelo avere. E noi, quando vi servirà, vi renderemo il favore, senza contare che un leprotto glielo manderemo alla prima occasione.

La provincia, il distretto, il villaggio, sono una terra particolare: qui le voci più insignificanti e le novità si diffondono in tutte le direzioni non meno velocemente di una notizia annunciata da un telegrafo. L'autunno era diventato molto freddo, di mattina una brina densa faceva brillare i campi e incipriava gli alberi, e il gelo con un sottile strato di ghiaccio ricopriva gli stagni increspatisi. Finalmente un giorno arrivò la neve, ed essendoci svegliati vedemmo dalle finestre tutto imbiancato. La prima neve! Come tremavano i cuori dei cacciatori al suono di queste due parole!

Proprio durante questa prima nevicata avvenne un miracolo. All'ora di pranzo era passato per Danilovskoe, arrivando dal villaggio di Krugliza (diece verste da noi), il direttore postale Golovanov. Egli era sia il direttore, sia l'unico funzionario sia l'unico impiegato dell'ufficio postale, con una barba da caprone, alto e padre di molti figli. Durante quei periodi e in quei luoghi immersi nel sonno avevo una corrispondenza incredibilmente vasta. Per questo Golovanov, invece di inviarmi la posta con un qualsiasi vetturino di passaggio, com'era usanza del luogo, preferiva portarmela di persona. Del resto, può essere che ci fossero anche altri motivi a scatenare questa gentilezza.

Riuscimmo a farlo sedere a tavola, nonostante egli per educazione si fosse rifiutato di farlo, quindi riscaldammo la carne salata, gli offrimmo un pezzo di

6. Шкурятник (škurjatnik): Antico termine usato per indicare i cacciatori che uccidevano le lepri solo scuoiandole.

vecchio e duro salame, un bicchierino di vodka e una bottiglia di birra. Allora, bello allegro, il direttore postale batté le mani sulle sue ginocchia ed esclamò: - Ah si! Quasi dimenticavo! Gira voce che lei stia cercando un cane per andare a caccia! Ecco, da noi a Kozly, in una cascina, vive una vedova, una contadina, che ha un buon cane, un segugio, di circa due anni, non di più. Fu un regalo che proprio il defunto Aleksandr Semenovyč fece alla donna, che lo ricevette quand'era ancora un cucciolo. Ora sta sempre legato. Magari, ella accetta di venderlo. Fate un tentativo. Volete che parli io con lei? Magaro andiamo adesso insieme.

Finimmo di bere il tè e ci avviammo sul carro a due ruote di Golovanov. C'era solo un'ora e mezza di viaggio per arrivare alla minuscola tenuta, che stava a lato del villaggio, come se volesse spiccare il volo. Entrammo nell'ampio e ordinato cortile. Lì, legato al palo con una lunga catena, si dimenava e abbaiava disperatamente un bellissimo segugio, nero brillante, con delle macchie di color rosso intenso, grande, di stazza robusta e petto ampio. Non mi vanterò mai di avere il coraggio di avvicinarmi ad un cane legato qualsiasi. Ma se da un'occhiata e dal suono del suo abbaiare stabilisco che il cane è intelligente, buono e che qualcuno si prende cura di lui, allora mi avvicino senza alcuna titubanza. In questi casi bisogna soltanto non dimenticare che, allungando la mano verso il cane, conviene tenerla con il palmo rivolto verso l'alto, per giunta ben aperto, affinché il cane si convinca che in questa non è nascosta una pietra.

L'anziana donna, uscita nel terrazzino d'ingresso, urlò:

- Fai attenzione a dargli da mangiare! Morde!

Ma il cane non mi sfiorò. Annusò la mano e, avendo tirato forte la catena, si appoggiò sul mio petto con le muscolose zampe anteriori. Accettò volentieri e divorò in un attimo un pezzo di carne salata che avevo precedentemente portato con me, mentre la coda esprimeva la più sfrenata riconoscenza. E allora io prestai attenzione agli occhi di questo cane. Erano di un rosso luminoso, erano vivi e seri. Il loro sguardo era fermo, fiducioso e penetrante, senza una minima traccia di sottomissione. Il cane non vagava con lo sguardo, non lo sottraeva alla mia vista, e non sbatteva le palpebre. Sembrava che gli occhi mi chiedessero con insistenza: "Perché vivo in catena? Perché sei venuto da me, non per farmi del male?". Soltanto i cani da pastore con il pelo lungo in montagna riescono a guardarti in questo modo.

In seguito, feci conoscenza con la padrona di casa, Anna Ivanovna. Venuta a sapere che volevo comprare il cane, si mise a starnazzare. "Ah, ma come! Ah, non lo so! Questo è un buon cane. Si chiama Zavirajka. Cani di questo tipo hanno un valore inestimabile, per un cacciatore. Questo viene dall'allevamento di Trusov, proprio da quello di Aleksandr Semenovyč. E che buona razza...". Poi

assunse un'espressione afflitta, stette un po' in silenzio, riprese fiato e chiese con esitazione:

- Un biglietto da tre rubli lo daresti?

Tre rubli glieli diedi volentieri. Mi propose di comprare anche la catena per un rublo. Io rifiutai. Ma per gentilezza lo aggiunsi per acquistare il vecchio e inutile collare.

Allora la vedova si rallegrò subito, e non voleva lasciarmi andare senza che avessi assaggiato la sua birra fatta in casa. Mi toccò bere con lei uno cucchiaino denso, come gelatina, di broda di malto, dopo aver pregato con gratitudine alla memoria del "Grande Cacciatore" Trusov. Ci congedammo da amici. "Se non terrai il cane legato, ma lo userai per andare a caccia, allora non avresti potuto trovare bestia migliore".

Tornai a casa a piedi, tenendo Zaviraj al guinzaglio con una corda. Ma era così docile, ubbidiente e di buon grado mi seguiva, che lo liberai. Con evidente soddisfazione correva avanti, scavando con il naso nella neve fresca, facendo scappare i passeri dal sentiero. Mi bastava fischiare o chiamarlo per nome, e lui subito si fermava e si voltava verso di me con il muso rivolto all'insù e i luminosi occhi attenti. Io agitavo la mano, dicevo: "Vai", - e lui nuovamente si lanciava a correre. "Che cane meraviglioso!" esultavo tra me e me.

Tuttavia all'entrata del podere fui nuovamente costretto a legarlo, perché era confluita l'intera popolazione canina proveniente da ogni parte della tenuta: Patraška, Žučka, Sultan, Rjabčik, Kadoška, Barboska, Čiripčik, Serko e il guardiano del cimitero Čubarik, un incrocio tra un bassotto e un levriero. I cani rispettano una nobile regola: non attaccano un cane sdraiato o legato. In ogni caso i cani della tenuta Danilovskoe iniziarono ad abbaiare e a latrare terribilmente. Zavirayka si strinse al mio fianco, sollevò nervosamente il labbro superiore, mostrò l'enorme bianco canino che vi stava sotto e, voltandosi verso di me, disse chiaramente con occhi espressivi: "Beh? Non è il caso di dargli una strigliata?".

Arapov era in estasi. A lui però non era piaciuto l'assai comune nome Zaviraj. "Sarebbe stato molto meglio, - disse - chiamarlo Milord, oppure Fidel', o žuža". Il punto è che si era abbonato al "Foglio Pietroburghese"⁷, e più di ogni altra cosa al mondo adorava i romanzi di alta società della principessa Bebutova. Ma io non cedetti alle sue richieste.

Tuttavia mi toccò dargliela vinta in un'altra questione. Guardando Zavirayka, avevo già assaporato l'idea di aver trovato in lui il mio Venerdì da condurre

7. Однодворец/однодворка: contadino/contadina che possiede un appezzamento di terra e lo coltiva personalmente, discendente dai servi della gleba.

nella mia abitazione da Robinson Crusoe, formata da quattordici stanze disabitate. Tuttavia Arapov giustamente rilevò che, primo, è difficile insegnare ad un segugio a tener pulita una stanza, e secondo, che al caldo un cane si indebolisce, perde il fiuto e a caccia prende facilmente il raffreddore. Decidemmo di stendere del fieno per Zaviraj sotto la tettoia della cucina. In seguito, quando arrivò l'inverno vero e proprio e giunse il freddo, costruimmo con la neve un grande riparo a tre lati, facendolo aderire alla parete della dépendance e lasciando un'entrata stretta. In alto coprimmo questa costruzione con un tetto fatto di paglia. Ovviamente, con l'andare del tempo, sotto la tutela di Zaviraya, tutti i cani della tenuta stabilirono in questa casetta un comune e accogliente rifugio per dormire, e qui stavano estremamente bene. Capitava, con il freddo pungente, di sera, di infilarvici dentro una mano, facendola passare attraverso la paglia, e il denso tepore vivo che c'era lì era semplicemente meraviglioso. In una parola, era il paradiso per i cani.

Quel giorno uscimmo a caccia: la giornata era calda, e la neve si ridusse in poltiglia, ma l'indomani sopraggiunse il freddo, e tutto si coprì di uno strato di ghiaccio. In seguito cominciarono le tempeste di neve. Non avevamo proprio fortuna con il tempo. Dopo circa dieci giorni, cominciò finalmente a cadere una neve leggera, abbondante e soffice. A causa del suo strato omogeneo, cominciarono a non vedersi più né i villaggi né i boschi. La neve continuò a scendere per tutto il giorno e verso sera improvvisamente cessò, come se fosse andata a dormire nel profondo silenzio, nell'immobilità e nelle tenebre.

Alla mattina, all'alba, uscimmo. Il freddo non era così pungente. Il sole sorse, quasi festoso. Gettava una sfumatura rosa sulla neve e le ombre degli alberi erano azzurrine. C'era un'enorme quantità di impronte di lepre, e intorno ai mucchi di fieno la neve era tutta calpestata dalle zampe delle lepri che vi avevano girato vicino durante la notte. Ma Zavirajka.. Zavirajka ci diede una grande delusione. Inutilmente lo portavamo dove c'erano le impronte più fresche, che sembravano ancora calde, invano lo piantavamo con il naso davanti a queste, gli indicavamo con le mani la direzione, cercavamo di persuaderlo e lo imploravamo. Egli guardava, alzando la testa verso l'alto, ora me, ora Arapov e diceva con sguardo insistente: "Sono pronto a ubbidire, ma spiegatemi il perché".

Così per tre giorni ci diede del filo da torcere. Ogni tanto Arapov diceva: "Si potrebbe sparargli una scarica di proiettili sotto la spalla sinistra. Ma purtroppo, non vale neanche sprecare una cartuccia per lui. È un cane che non vale niente". Tuttavia diceva queste assurdità impulsivamente, preso dalla rabbia. Al di fuori della caccia trattava il cane con premura.

Ma ecco cosa accadde il quarto giorno.

Non appena uscimmo dalla tenuta verso una piccola collinetta, dove iniziava-

no i pascoli contadini, Zaviraj si fermò ed iniziò ad annusare la neve, agitando furiosamente la coda. Ricordo che Arapov disse: “Che scemo, probabilmente hai fiutato un topo.” Ma proprio in quell’istante dalla neve sbucò come una sentinella un’enorme lepre dal pelo grigio sfumato di rosa e iniziò a correre, come se fosse indemoniata. Sarebbe stato difficile perfino per un cane levriero starle dietro.

Zaviraj fu fenomenale.

Non si perse d’animo, non si bloccò, non perse un singolo istante; subito si precipitò dietro alla lepre, e presto lo perdemmo di vista. Passò ancora un minuto: sentimmo il suo latrato... Sapete come abbaia un cane da caccia quando insegue una lepre?

Quella, povera, continuava a lamentarsi: “ Ahi, ohi, ahi! Mamma mia, mi fanno del male! Cosa faccio, ahi, ahi, io, poverina? Ahi, ahi, ahi..”. Si sentivano i latrati di Zavirajka spostarsi verso destra. E lì ci si mise di mezzo Arapov, che, avendo preparato il fucile, cominciò a spostarsi piano piano verso destra. L’abbaiare di Zavirajka si faceva sempre più basso, quasi impercettibile, ma all’improvviso ricominciò molto flebile, e in un attimo diventò percepibile e chiaro.

Io stavo in disparte, e potevo sentire e vedere tutto. Vidi che Arapov aveva preso la mira. Poi dai cespugli spuntò una lepre di color marroncino chiaro. Di colpo una fumata bianca fuoriuscì dal fucile di Arapov, e contemporaneamente la lepre si capovoltò di testa e cadde distesa nella neve. Poi echeggiò un debole “puk!”: era lo sparo. Poi dai cespugli uscì Zaviraj piangendo forte.

Arrivando di corsa davanti alla lepre, le sfiorò il corpo, e subito si accucciò. Quando ci avvicinammo a lui, offriva uno spettacolo tragicomico: il muso corrugato all’ingiù, le orecchie abbassate, l’aria afflitta: “una vedova ipocrita, né più, né meno”. Ma quando io gli gettai la zampetta della lepre, la stessa che le dame usano per truccarsi le guance di rosso, egli la afferrò al volo, la fece scrocchiare con gusto e in un attimo la inghiottì. E da questo momento egli diventò un cane da caccia di prima categoria. Quella mattina, senza alcun suggerimento da parte nostra e senza direttive, si metteva da solo a ricercare impronte di lepre, le inseguiva con attenzione e senza commettere errori, e riusciva a unire assieme la razionalità calcolatrice con la passione della caccia. Ci portò quello stesso giorno altre quattro lepri; una di queste la ammazzò Arapov per la seconda volta, e le altre le uccisi io. E ogni volta assumeva immancabilmente (come avrebbe fatto in seguito) la posa della vedova inconsolabile. Presto divenne una celebrità in tutto il distretto, ma la fama non guastò il suo carattere mansueto e leale.

E ora vi racconterò di una volta, in cui Zaviraj diede prova di una tale fedele

amicizia, di una tale forza di buona volontà e di una tale prontezza d'ingegno, che anche ad un uomo avrebbero fatto grande onore.

L'inverno stava arretrando. Da qualche luogo lontano cominciò ad arrivare un sentore di primavera. Io e Arapov scegliemmo una di queste mattine per andare a caccia di lepri, probabilmente per l'ultima volta fino all'autunno successivo. Zavirajka non ebbe bisogno di essere invitato. Ci seguì con la sua abituale felicità trattenuta e seria.

E, ovviamente, si aggregò a noi tutto lo sconclusionato branco dei cani del villaggio che non era stato invitato: il guardiano del cimitero Čubarik, Serko, Sultan, Kadoška con Barboska, e Sultan con Patraška, in una parola, tutti coloro che erano in grado soltanto di ostacolare la caccia.

Sempre soltanto Zavirajka si dava da fare con la sua tipica energia inesauribile e risoluta. I cani bastardi lasciati a loro stessi cacciavano per i fatti loro. Fiutavano le tane dei ricci, delle talpe e dei topi e tentavano di acchiapparli con le zampe, abbaiano quando si imbattevano nello sterco fresco di uccelli e lepri. Molto presto li superammo, e li perdemmo completamente di vista. "Comunque, - diceva spesso Arapov, - queste carogne avremmo dovuto farle fuori molto tempo prima". In realtà stava scherzando. Era un buon uomo.

Quel giorno però non vedemmo neanche una coda di lepore. Tutti i campi, le radure e i sentieri dei boschi erano percorsi e calpestati fittamente, ma non c'era alcuna possibilità di stabilire se le impronte fossero fresche o meno. Zavirajka scavava con il naso nella neve e annusava con foga. Abbandonate le tracce, vi tornava di nuovo, fiutava ancora, facendosi perplesso, e poi, tornando da noi, ci puntava addosso i suoi occhi fulvi. Era come se ci stesse dicendo: "Bene, siamo usciti per andare a caccia di lepri, ma dove sono, o uomini saggi, pieni di passione, dove sono le nostre lepri?"

Ci spingemmo lontano. Iniziava già a farsi buio. La morbida neve restava attaccata ai valenki⁸, e questi si bagnarono tutti. Decidemmo di tornare a casa. Addio, lepri, ci rivedremo l'anno prossimo durante il periodo della "caccia lungo il sentiero nero". Zaviraj deluso correva avanti.

Al pascolo, si unì a noi, come sempre, tutta la banda dei cani bastardi anarchici. Gli era difficile avanzare. La neve fresca si addensava formando duri grumi sotto le zampe, ed era necessario toglierseli continuamente con i denti.

Eravamo praticamente già arrivati alla tenuta, quando all'improvviso cominciò a scendere silenziosa dal cielo scuro della neve fitta e soffice. In pochi minuti

8. I valenki sono calzature invernali tipicamente russe, fatte di feltro. Non tengono l'acqua, e per questo vengono spesso usate come doppia scarpa per proteggere i piedi dal freddo.

cancellò tutte le impronte: quelle delle lepri, degli uomini, e le scie delle slitte, e poi improvvisamente si fermò.

A casa mi cambiai. Mi avanzava ancora mezz'ora prima della cena e dell'abituale partita a *préférence*, che giocavamo a due secondo l'usanza ussara. Diedi un'occhiata al vecchio libro di Gaio Svetonio "De vita caesarum", con i due testi paralleli in francese e in latino.

Bussarono alla mia finestra. Mi avvicinai al vetro e scorsi Arapov. Mi stava chiamando tutto allarmato. Sapevo che di notte egli non osava mettere piede nella grande casa, per via della Gamba Morta, e per questo, infilato in fretta il tulup⁹, uscì in cortile.

Arapov era assai turbato:

- Mi scusi... Non so che fare con Zavirajka. Se non fosse inverno, mi verrebbe da pensare che si sia preso la rabbia. Date un po' un'occhiata.

Avendomi visto, Zavirajka si lanciò verso di me. Mi saltava in groppa, strappava le falde del mio tulup e mi trascinava, puntandosi con le zampe anteriori nella neve e facendo dondolare la testa.

- Mi sembra, che abbia fiutato la presenza di un lupo, suggerii io. Aspettate, ricarico il fucile con i pallettoni e poi andremo dove lui ci condurrà.

Alla vista del fucile, Zaviraj si mise a saltare gioioso. Corse avanti, ma all'uscita della tenuta si fermò e ci aspettò, agitando impazientemente la coda. Noi lo seguivamo. Era evidente che stava seguendo un percorso preciso, che ricordava bene: era la stessa strada per la quale eravamo appena tornati dalla battuta di caccia, resa liscia e percorribile dalla neve fresca.

- Aspettate qui un secondo, disse Arapov. Tenete un attimo fermo Zaviraj. Vado a controllare le impronte.

E dopo alcuni minuti esclamò rivolto verso di me:

- Ma certo! E' tutto chiaro! Le impronte di Zavirajka conducono a entrambe le direzioni. Probabilmente, dopo il ritorno a casa, egli è corso da qualche parte ed è poi tornato indietro. Di sicuro nessun lupo ha spaventato Zaviraj, altrimenti avrebbe guaito. Continuavamo a seguirlo, e lui ora ci conduceva tranquillo e sicuro, avendo perfettamente capito che gli davamo retta.

Avanzammo così per circa cinque o sei verste e, alla fine, udimmo da lontano un sommesso guaito di dolore, appena percettibile. Diventava via via più forte ad ogni passo, finché non capimmo che a lamentarsi era un cagnolino. Presto alla luce offuscata e indistinta della luna scorgemmo una montagnola di neve.

9. Il tulup è un giaccone tradizionale russo, caldo e ampio, senza cintura alla vita. Solitamente è costituito all'interno di pelliccia di montone o di astrakan, mentre esteriormente è ricoperto di pelle. È adatto ai freddi inverni russi e spesso veniva indossato sopra al cappotto.

Zavirajka iniziò a fare la spola su e giù con foga da questo mucchietto a noi, e viceversa, mentre abbaia pieno di gioia. Quando fummo abbastanza vicini, senza difficoltà trovammo il povero e sfortunato Patraška. A quanto pare era caduto in una trappola per le lepri, che era stata messa nel sottobosco dagli uomini del villaggio di Borodino.

Una trappola per le lepri, ovviamente, non avrebbe potuto spezzare la zampa di un cane, e se non fosse stato per la neve sciolta, Patraška si sarebbe potuto trascinare in un modo o nell'altro fino alla tenuta. Ma la neve appiccicosa, umida e soffice, ad ogni passo che Patraška faceva trascinando la gamba, si ammassava nella trappola, finché non si trasformò in un' enorme palla, che il cagnolino non riusciva più a muovere.

Liberammo Patraška, e lui, zoppicando e guaendo, si trascinò a fatica dietro di noi verso la tenuta.

Zavirayka durante tutto il tragitto non riuscì a calmarsi ed abbaia con vigore e gioia. Si gettava con le zampe anteriori ora sul mio petto, ora su quello di Arapov, cercava continuamente di leccarci le labbra e subito dopo correva indietro da Patraška per leccarlo dalla coda alla testa. Ecco la gioia dei cani, tenera e pura! A cena parlammo a lungo di ciò che era successo. È strano: noi, uomini, noi, sovrani del mondo, noi, che sappiamo far di conto con numeri alti, non ci siamo accorti lungo la strada di aver perso Patraška, ed invece Zavirayka, che è soltanto un cane, ha notato quest'assenza, già quando era arrivato a casa. E cosa lo ha spinto ad andare alla ricerca dell'amico? Il cosciente intelletto, o il misterioso e leale istinto?

3.4 Balto (1929)

3.4.1 Бальт

Год, может быть, два назад произошло на севере Америки, в Аляске, событие не совсем обыкновенное.

В небольшом поселке Номе, глубокою зимою, открылась вдруг эпидемия дифтерита, до той поры никогда Ном не посещавшая. Количество заболеваний увеличивалось с грозной быстротой. Начались и смертные случаи. Единственный врач поселка был почти беспомощен перед лицом жестокой гибели, грозившей всему населению. Во всем Номе не нашлось ни одной ампулы с антидифтеритной сывороткой. Достать ее можно было – и то не наверняка – лишь в ближайшем городе, который лежал от поселка в трехстах верстах и не был с ним соединен ни железной дорогой, ни телеграфом, ни шоссе.

И вот один из жителей добровольно вызвался послужить обществу. Не

знаю, кто он был – охотник или золотоискатель. Мне теперь очень досадно, что я своевременно не удосужился записать его имя. Он сказал:

– У меня есть хорошая, испытанная собачья упряжка. Я съезжу на ней в город, возьму там, сколько надо, вакцины и вернусь назад. Сделаю все это так скоро, как угодно будет богу.

Поехал и сделал. Нужно ли рассказывать о трудностях его путешествия среди безграничного снежного моря, в "белом молчании без малейшего намека на дорогу или тропу, когда руководиться приходится лишь компасом и соединенными инстинктами человека и животных? Прочитайте об этом в прекрасных рассказах Джека Лондона. (Впрочем, нельзя не признать, что в случае, о котором идет речь, сама жизнь взяла и сочинила именно тот самый рассказ, которого, однако, недоставало у Лондона.)

На обратном пути, уже в последней трети дороги, упряжку захватила метель. Собаки выбивались из сил постепенно падали, поднимать их бывало невозможно ни лаской, ни уговорами, ни кнутом. Приходилось обрезать одну за другою постромки. Наконец, остались на ногах лишь человек и передовая собака, по имени Бальт. Теперь тащить за собою сани было и обременительно, и бесполезно, и их пришлось бросить.

Тогда хозяин прочно укрепил пакеты с драгоценным серумом на спине Бальта, накормил его в последний раз и, указав собаке направление, велел идти домой.

– А я пойду следом, – сказал хозяин.

Конечно, Бальт был в любой момент готов с восторгом положить свою верную собачью душу за малейший из интересов хозяина. Но в эту минуту он понял – о, несомненно, понял, – что хозяину скорая доставка груза гораздо дороже собственной жизни, и вот послушно побежал вперед и скрылся в бушующем снегу, в наступающем мраке ночи.

Чутье, инстинкт и силы не изменили Бальту. Он прибежал в Ном настолько быстро, насколько это было угодно богу, и своим знакомым лаем поставил сразу на ноги всех жителей, не привязанных болезнью к постели. И в то время, когда доктор обходил с чудотворной сывороткой один за другим дома, где находились больные, – навстречу хозяину Бальта уже мчалась спасательная экспедиция на свежих упряжках, с запасными собаками и с провиантом. Его нашли в тридцати верстах от поселка, еле живого, ползущего в снежных сугробах... Он задал только два вопроса:

– Сыворотка? Бальт?

Ему ответили:

– Все хорошо...

Он улыбнулся и потерял сознание.

Ну, чем это не рождественский рассказ, чтимые читатели и милые чита-

тельницы? Да еще рассказ, поднесенный самой жизнью? Надо к нему еще прибавить то, что и человек, и пес до сих пор живы, здоровы и неразлучны. На днях в Номе произошло торжественное открытие бронзовой статуи Бальта, воздвигнутой благодарным населением. Попервоначалу хотели было увековечить и смелого хозяина, но он круто отказался.

– Глупости!.. Вся заслуга принадлежит Бальту, а я только прогулялся... Сейчас передо мною газетная вырезка, на которой сняты бронзовый могучий Бальт, напряженно влегший в постромки, а рядом с ним живой Бальт и его хозяин, пришедшие полюбоваться памятником. Человек спокойно смотрит на чудесное изображение своего друга, но Бальт отвернулся.

– Какая же это собака, если от нее ничем не пахнет?

О, скромность сильных!

А вот я знаю еще и такую историю. В одном городе поставили одновременно два памятника двум местным уроженцам, людям мировой известности, и поставили еще при их жизни. Так вот оба великих мужа приходили каждое утро с разных сторон на площадь, где стояли их статуи, и некоторое время безмолвно их созерцали: каждый самого себя. Потом, точно по сигналу, окидывали друг друга гневно-презрительными взглядами, поворачивались друг к другу спинами и медленно покидали площадь. Мне Бальт милее.

3.4.2 Balto

Un anno fa, o forse due, avvenne nel nord America, in Alaska, un fatto straordinario.

Nella piccola cittadina chiamata Nome, in pieno inverno, scoppiò d'un tratto un'epidemia di difterite, malattia che a Nome non era mai comparsa prima. Il numero degli ammalati aumentava con una velocità spaventosa. Iniziarono anche i primi casi di morte.

L'unico medico del paese era praticamente impotente davanti alla terribile fine, che minacciava l'intera popolazione. In tutta Nome non era possibile trovare una sola boccetta di siero antidifterite. Era possibile procurarsela, tra l'altro neanche a colpo sicuro, soltanto nella città più vicina, che si trovava a circa trecento verste dal villaggio, con la quale non era collegato né tramite un linea ferroviaria, né un telegrafo, e nemmeno una strada.

Così un cittadino si offrì di mettersi al servizio della comunità. Non so chi fosse costui, se un cacciatore o un cercatore d'oro. Adesso mi dispiace tantissimo di non essermi preso la briga di appuntarmi il suo nome a tempo debito. Egli aveva detto: "Ho una muta di cani da slitta assai buona e collaudata. La userò per andare in città, prenderò i vaccini di cui abbiamo bisogno e tornerò indietro. Ci metterò il tempo che Dio vorrà.

Andò e portò a termine la missione. Occorre forse raccontare le difficoltà incontrate durante il viaggio nel mezzo dell'illimitato mare di neve, immerso nel "candido silenzio", senza la minima traccia di strada o di sentiero, quando è necessario orientarsi basandosi soltanto sull'uso della bussola e sugli istinti dell'uomo congiunti a quelli degli animali? Leggete a riguardo i bellissimi racconti di Jack London. (Comunque, non si può non riconoscere, che nel caso di cui si sta parlando, la vita stessa ha scelto e composto il racconto, il quale, tuttavia, manca in London).

Sulla via del ritorno, già nell'ultimo terzo del tragitto, una tempesta di neve colse di sorpresa la muta. I cani persero le forze e si accasciarono un po' alla volta, era impossibile farli rialzare sia con le carezze, sia con le esortazioni, sia con la frusta. Toccò tagliare ad una ad una le tirelle. Alla fine restarono in piedi solo l'uomo e il cane guida, che si chiamava Balto. Trascinare la slitta ora era difficile e inutile, e dovettero rinunciarvi.

Allora il padrone legò saldamente i contenitori con il prezioso vaccino sul dorso di Balto, gli diede da mangiare per l'ultima volta e, indicata al cane la direzione, gli ordinò di dirigersi verso casa.

- Io ti starò dietro,- disse il padrone.

Balto ovviamente in qualsiasi momento e per la minima richiesta del padrone era pronto a mettere a disposizione con entusiasmo il suo fedele istinto di cane. Ma in quel momento capì, oh, senza ombra di dubbio capì, che per il padrone la consegna veloce della merce era assai più cara della sua stessa vita, e allora si mise ubbidientemente a correre e sparì nella neve che turbinava, nell'oscurità della notte che avanzava.

Il fiuto, l'istinto e le forze non tradirono Balto. Rapidamente quanto a Dio piacque arrivò a Nome e con il suo noto abbaiare fece alzare in piedi immediatamente tutti gli abitanti che non erano costretti dalla malattia a stare a letto. E mentre il dottore passava con il siero miracoloso per ogni casa dove vi erano dei malati, una spedizione di salvataggio si stava già dirigendo veloce incontro al padrone di Balto su di una nuova slitta, con cani di riserva e viveri. Lo trovarono a trenta verste di distanza dalla cittadina, mezzo morto, mentre arrancava sui cumuli di neve... Fece solo due domande:

- Il siero? Balto?

Gli risposero:

- E' tutto a posto...

Egli sorrise e perse conoscenza.

Quindi, per quale motivo questo non è un racconto edificante, onorevoli lettori e care lettrici? E per di più un racconto, offerto dagli avvenimenti della vita stessa? Bisogna anche aggiungere, che sia l'uomo che il cane sono ancora vivi, stanno bene e sono inseparabili. Di recente a Nome c'è stata la solenne

inaugurazione di un monumento in bronzo a Balto, eretto dai cittadini grati e riconoscenti. Inizialmente, avrebbero voluto immortalare anche il valoroso padrone, ma egli si rifiutò categoricamente.

- Sciocchezze! Tutto il merito spetta a Balto, io ho solamente fatto una passeggiata...

Ora davanti a me c'è un ritaglio di giornale, sul quale sono ritratti la poderosa statua in bronzo di Balto, imbrigliato saldamente nelle tirelle, e accanto a lui il vero Balto in carne e ossa e il suo padrone, giunti ad ammirare la statua. L'uomo osserva calmo la meravigliosa raffigurazione del suo amico, invece Balto è girato.

- Che razza di cane è se non emana alcun odore?

Ah, la semplicità dei grandi eroi!

Conosco anche quest'altra storia. In una città innalzarono contemporaneamente i monumenti dedicati a due uomini nativi del luogo, persone di fama mondiale, li innalzarono mentre erano ancora in vita. Entrambi gli uomini ogni mattina arrivavano alla piazza da diverse direzioni, andando là dove erano poste le loro statue, e per un po' di tempo le contemplavano in silenzio: ognuno contemplava se stesso. Poi, come se rispettassero un segnale, si gettavano uno sguardo sdegnoso e sprezzante, giravano le spalle uno all'altro, e lentamente abbandonavano la piazza.

Io preferisco Balto.

3.5 Una notte nel bosco (1931)

3.5.1 Ночь в лесу

Середина апреля. По ночам еще стоят холода; болотцы и лужи в лесах затягиваются к утру тонким, хрупким льдом, но дни солнечны и теплы. Клейкие почки на березах насытились весенними соками, и в воздухе чувствуется их радостный смолистый аромат.

Теперь – последние дни глухаринной охоты. Как только распустятся первые нежные березовые листочки, то начнут свое страстное токование краснобровые тетерева, глухари и замолкнут и забьются до осени в непроходимые чащи.

Мне уже надоело ночевать каждый день в старой смолокурне, глубоко врытой в землю. Там удушливо пахнет смоляной гарью; бревенчатые стены на вершок поросли висячей черной липкой сажей; каждый раз вылезая из смолокурни весь черный, как черт, чернее трубочиста; очень трудно потом отмыть руки и лицо.

Кроме того, постоянное сообщество лесника Николая становится мне все

более тяжелым и неприятным. Он без нужды болтлив, криклив, подобо-страстен, противно жаден до денег и суетлив. Но охотник он превосходный: знает все повадки, привычки и ложбища как птицы, так и зверя; неутомим на охоте, обладает почти собачьим чутьем и опознается в лесу, как в собственной избе.

Объездчик Алексеев однажды проговорился мне, что лесник Николай, в сущности, не охотник-любитель, а жадный дичепромышленник и шкурятник, что он-де бьет дичь для продажи, направляя ее пудами, при помощи кумовьев, свояков и дружков, через Тулу в Рязань и Москву. Кроме того, ставит на птиц и на зверей запрещенные капканы и разбрасывает отравы. Все эти слухи о Николаевой изворотливости мало меня интересовали и беспокоили. Под самодержавным распоряжением моего зятя, у которого я тогда гостил, находились четыреста пятьдесят тысяч десятин Куршинского казенного лесничества, да еще ему поручено было наблюдение над Касимовскими соседними лесами братьев Хлудовых, где числилось более ста тысяч десятин; пространство, как видите, равное пяти-шести германским княжествам или любому лимитрофу. Этот лесничий (не только по образованию, но и по призванию) любит лес серьезной, деятельной любовью. Для борьбы с лесными истребительными пожарами он построил в каждом из кордонов высокие наблюдательные каланчи и никогда не устает экзаменовывать лесников в знании противопожарных инструкций. Он ревностно преследует лесные самовольные порубки и никогда их не прощает. Еще строже он следит за тем, чтобы в его лесничестве никто не смел разводить костров, особенно летом.

Он никогда не берет взяток. Когда наступает время продавать на сруб старые лесные делянки, то первые очереди он предоставляет соседям-крестьянам, а лесопромышленникам идут остатки или дорогие строевые деревья за высокие цены. Крестьяне это знают и ценят: оттого-то в его лесах почти никогда не шалят и его заповедных питомников никто не трогает.

Ему, конечно, известно, что почти все его лесники охотятся без его позволения. Но он глядит на это сквозь пальцы.

– У меня, – говорит он, – такая уйма дичи, что на всех хватит без малейшей убыли.

Я тоже держусь взглядов моего патрона. Но поведение Николая на охоте меня порою возмущает до гнева. Вот уже почти три года, как мы с ним охотимся, и сколько раз я ловил его на плутовстве, к которому, однако, никак нельзя придраться. То он заведет меня в лысое пустое место, куда от сотворения мира не залетал ни один глухарь, ни тетерев. А то, бывало, услышу я издали знакомые мне волнующие звуки глухариной песни и бегу

под нее быстрыми короткими прыжками, стараясь делать это совершенно беззвучно. Вот, вот... уже близок глухарь. Я различаю теперь и второе колено его токования, похожее на мощное, глухое шипение; уже подымаю голову кверху, стараясь разглядеть среди веток густой сосны фигуру самого глухаря... И вдруг... треск валежника под ногами... Шлепанье кожаных бахил... Глухарь мгновенно замолкает. Из темного кустарника выдирается голова Николая. Громко хлопая огромными крыльями, глухарь улетает прочь, и теперь его больше не увидишь. О, черт!

Николай спрашивает шепотом:

– Никак спугнули?

Конечно, глухарь был спугнут, но не мной, а лесником, но по какой-то глупой деликатности я молчу и только гляжу на него с яростной злобой. «Ведь этак ты не в первый раз делаешь, подлец».

И правда: одного глухаря он еще мне иногда давал ухлопать, но стоило мне начать разыскивать глазами второго, как Николай уже мчался ко мне с криками:

– Сан Ваньч! Ау, ау, Сан Ваньч!

А подойдя, говорит: – А я-то вас кричу, кричу. Испугался даже. Тут место-то с закальцем. Стоит попасть ногой, так наверх никак не выкарабкаешься. Засосет.

Под конец я его просто возненавидел за его вертлявую заботливость и только сегодня решился сказать с надлежащей вескостью:

– Нечего нам с тобой, Николай, дурака валять друг перед другом... Нынче в ночь я пойду один, а ты сейчас же отправляйся домой, к себе на кордон. И сию же минуту!

Он жалобно забубнил:

– Да я, помилуйте, Сан Ваньч. Да как же я вас оставлю одного? Здесь же болота разные, быстрые речушки, вы по ним и не пройдете, особенно ночью. И господин лесницын меня в прах обратит, если, не дай Бог, с вами что-нибудь случится. Я же ведь только о вас самих забочусь... Я... Но тут я ужасно заорал на него. Мне был стеснителен и труден лишь первый шаг, потом все пошло легче. Очень поспешно Николай оделся и вылез из смолокурни. Я долго слушал его удаляющиеся шаги, пока не убедился, что он действительно идет по направлению к Куршинской дороге. Наконец шаги стихли.

Остался только шум в обоих ушах да странное неуютное чувство внезапного одиночества. Я поглядел на часы: было около восьми. Мне вдруг стало жалко, что я прогнал Николая: прежде в этот час мы ложились спать в смолокурне, а к полуночи шли на ток. Ведь могло случиться, что я был неправ, приписывая леснику коварные замыслы. Но я преодолел

свою чувствительность, вскинул ружье за плечо и, не торопясь, пошел в глубь леса узенькой, недавно вновь проторенной тропинкой.

Солнце заходило. Его закат был яркий и ясный, но спокойный, и ветер спадал: почти верный признак того, что завтра утром погода будет сухая и безветренная. Самая благоприятная для глухариних токов. А кроме того, какие-то птички, казавшиеся совсем малюсенькими, шныряли с необыкновенной быстротой в высоте смуглевшего неба: тоже одна из примет тихого утра.

Было уже трудно видать лесную дорожку, но я доверился инстинктивной памяти ног, которая так остра и послушна в тишине и в полутьме. Так дошел я до узенькой, всего в сажень шириною, но необычайно быстрой речонки, называвшейся Пра. Ее звонкий лепет доносился до меня еще издалека. Через нее с незапамятных времен была мужиками перекинута «лава», первобытный неуклюжий мост из больших древесных сучьев, перевязанных березовыми лыками. Странно – никогда мне не удавалось благополучно перебраться через эту проказливую речонку. Так и нынче: как ни старался я держать равновесие, а пришлось все-таки угодить мимо и зачерпнуть холодной воды в кожаные, большие, выше колена бахилы. Пришлось на другом бережку сесть, разуться и вытрясти воду из тяжелой обуви. На ходу ноги опять согрелись, приятно и ладно обтянутые высыхающей упругой кожей. Дальше путь пошел легкий. Я уже по опыту знал, что мне теперь, кренделяя между мощными стволами и густым цепким кустарником, надо неуклонно держаться востока. Тут мне помогали и лиловое с золотом догорание запада, и мой полуигрушечный компас, мгновенно озаряемый светом папиросы.

Я на ходу перетягиваю поудобнее за плечами мой походный ранец и вдруг невольно улыбаюсь: в глубоком вечеряющем лесном безмолвии набежала смешная мысль. Я вспомнил прелестную поэму нового норвежского писателя Кнута Гамсуна под заглавием «Пан». Ах! Какими страстными словами, какими волшебными образами живописал ее герой, очаровательный лейтенант Глан, лес и его великое безмолвие. . .

Но какой же это был лес, если через него кратчайшим путем ходят ежедневно девушки из деревни в городок с кувшинами молока? И какое же в нем великое одиночество, если он весь засорен окурками, замасленными бумагами, апельсинными корками и стеклом разбитых бутылок – всеми этими грязными следами, говорящими о постоянной и тесной близости человека?

«Вот хорошо было бы, – думаю я, – перенести этого норвежского любителя природы сюда, в сплошную полосу кондовых, частью еще не обмеренных лесов, раскинувшихся на многие сотни тысяч квадратных верст,

на пространство, равное среднему европейскому государству, заселенное медведями, волками, лосями, лисами, барсуками, зайцами, рысями, белками, горностаями, куницами и тысячами мелких неведомых зверушек; и весь этот четвероногий мир находится в вассальном подданстве у местного лешего, которого не однажды видели куршинские мужики, прозываемые соседями „куршей головастой“ или „литвой некрещеной“, а бабы – те видят его очень часто, когда летом ходят по ягоды».

Но уже падает, падает мгла на землю. Если теперь выйти из освещенного жилья на волю, то сразу попадешь в черную тьму. Но мой глаз уже обвык, и я еще ясно вижу нужную мне, знакомую вереву. Вереей в этом крае называется большой холм, который высоко и широко торчит над болотом. Почти всегда на нем свободно растут две или три мощные столетние сосны, упирающиеся далекими вершинами в небо, с четыреххватными стволами в землю. Еще ясно различаю, как на самом кряжистом дереве, покрытом древнею, грубою, обомшелюю корою, протянулся и точно дрожит Бог весть откуда падающий густо-золотой луч, и дерево в этом месте кажется отлитым из красной меди.

Но прелестный лучик на глазах слабеет, затихает, меркнет. . . Вот уже и нет его совсем. Надо и мне улечься спать.

Я ложусь на ровном и мягком месте под холмом; так всегда удобнее лежать на открытом воздухе. Но уснуть мне долго не удастся. Шумно бьется кровь в ушах, и ложе мое все кажется неудобным. Но мне давно уже знаком этот искус: чем больше ты будешь менять позы, переворачиваться с боку на бок и возиться с ямками, бугорками и сучками – тем вернее будет бежать от тебя дрема.

Я пробую лежать неподвижно, стараясь не замечать под собою ухабов и возвышений. «Это мне только кажется, – успокаиваю я себя. – Это мое избалованное воображение. Стоит потерпеть немного, и все пройдет».

Вылез тонкий, ясный, только что очищенный серп полумесяца на высокое небо, и только теперь стало заметно, как темна и черна весенняя ночь. Бежит, бежит молодой нарядный блестящий месяц, плывет, как быстрый корабль, волоча за собою на невидимом буксире маленькую отважную звездочку – лодку. Порой они оба: и бригантина и малая шлюпочка – раз за разом ныряют в белые, распущенные, косматые облака и мгновенно озаряют их оранжевым сиянием, точно зажгли там рыжие брандеры.

Не знаю, сколько проходит времени в этом восторженном наблюдении за небесными корсарами. Время меня больше не интересует, как, пожалуй, и все на свете. Я даже не сознаю того приятного ощущения, что меня уже больше нигде не жмет, не теснит, не давит. Кровь перестала гудеть в ушах, но зато удивительно уточнилось и стало чудесно внимательным чувство

слуха.

Далеко, верстах в двадцати – тридцати, в лесном озере низко и слышно мычит вышь, классная наставница: «Спите, дети, спа-оть, спа-оть». Небольшая птица, чуть побольше коростеля, а голос у нее, как у соборного протодиакона или у породистого недовольного быка, начальника стоголового стада. Но она вскоре умолкает. Маленькие птички прощаются дружка с дружкой в густом кустарнике: «чики», «спокойной ночи». Спите чутко: «чи-чи-чи». Дергач в болоте протяжно скрипит в последний раз. Блеет барашком бекас, летящий на ночлег. Всемирная тишина! Только малюсенький, недавно вылупившийся из яйца птенчик соловьенчик слабо пискнул два раза: это он бредит сквозь сон. Что за ночь! Вспоминается мне вдруг давнишняя, точно воскресшая детская песенка:

В добрый час, в добрый час,
Спите: Бог не спит за вас. . .

Я даже чувствую в голосе ее простой, наивный, точно молитвенный напев. Как странно и как торжественно-сладостно ощущать, что сейчас во всем огромном лесу происходит великое и торжественное таинство, которое старые садоводы и лесники так мудро называют первым весенним движением соков.

Влажная благодатная земля представляется мне всемирной, могучей матерью, щедро предлагающей свои бесчисленные сосцы всему живущему, растущему, дышащему и славящему Создателя. Углубившись в темные недра, ее тонкие, как ниточки, нежные отпрыски корней неустанно сосут, жадно впивают чудотворные соки. Слепые и бесчувственные, обладающие лишь божественным инстинктом, они никогда не ошибаются. Вот этот сок нужен липе, тот – ландышу, тот – сосне, а тот – папоротнику или дикой малине.

О, ночные часы! как в них много возобновляющейся силы, творческой работы, неведомой жизни и вечной тайны. Ночью мальчики летают по воздуху, падают с кровати и растут. Ночью ходят по вершинам лунатики, влекомые лунным притяжением. Ночью тревожатся и стонут девушки-подростки, а беременные женщины ощущают первые потуги.

. . . Я сейчас думал. Но во сне это было или в ночной яви? Взглядываю на небо. Там большие перемены. Полумесяц снизился, стал вдвое больше. Он точно разбух и покраснел. Маленькая лодочка отцепилась от него и пропала навсегда. . . Да, это верно. Я заснул на несколько минут и совсем этого не заметил. Ночь стала еще тише, еще глубже и гуще. Едва-едва слышимый звук раздаётся около меня, у моих ног. Точно кто-то сказал шепотом: «Пак». Нет, вернее: такой кроткий звук бывает порой, когда дитя в задумчивости разомкнет уста. Я догадываюсь о его причине и слабо с

умилением улыбаюсь. Это какая-то почка вся набрякла соками, раздалась вширь, и от нее с тихим шумом отклеился первый лепесток. Какое счастье! Я живу теперь в самом центре, в самом святилище простых домашних интимных чудес природы, как в любимом знакомом доме.

Отчего нет больше сказок в наш суровый практический век? Какое, например, превосходное и какое бессчетное у меня королевство! Здесь живут дикие пчелы, осы и шмели, еще не решающиеся вылететь из зимних, глубоких дупел, забытых от холодов соломой и мхом. Здесь повсюду, в каждой щели и трещинке, в извилинке коры спят мертвым, но временным сном личинки и коконы разноцветных бабочек, изящных стрекоз, всевозможных жуков, свирепых комаров, пауков-строителей и всяких трудолюбивых червячков: пильщиков, резчиков, сверльщиков, стругальщиков – и все они нужны для каких-то Господних работ. Большими буграми высятся огромные жилища муравьев, битком набитые сильным, работающим, свирепым и умным народом. . . Ну-ка, я попробую сделать подсчет: сколько у меня, в моем королевстве, приходится в среднем подданных на каждую кубическую сажень?

Я считаю. Голова моя тяжела и качается. Веки чешутся. Ах, как ночью в лесу, перед зарею, фантастически мешаются фантазии с правдой и сон с действительностью.

Может быть, я снова задремал, но вдруг сразу нахожу себя проснувшимся и немного испугавшимся. Мне показалось, что кто-то сначала слегкадохнул на мою щеку, а потом ткнулся в нее чем-то холодным и мягким. Я вздрагиваю, хватаюсь за щеку. На ней еще осталась чуть прохладная влажность.

Одновременно с этим я, не слыша, чувствую чей-то мелкий и торопливый скок. Ах, Боже мой! Да ведь это какой-то лесной зверюшка пришел и обнюхал меня. «Что, мол, здесь, в моем лесу, за большая живая говядина валяется?» Я подымаю голову кверху. Теперь уже видно небо. Оно ровного скучно-стального цвета. Я себя чувствую так же разморенным и усталым, как после долгой езды в вагоне третьего класса. Кто-то ворочится высоко надо мною, в гуще сосны. . . Присматриваюсь настойчиво и напряженно. Да, это – глухарь, хотя от меня он и кажется величиною не более лесного голубя. Когда он успел сесть, что я его раньше не услышал. «Не бойся, милый глухарюшка, – говорю я про себя, – я тебя сегодня не обижу, не буду стрелять. Ведь мы с тобою нынче вместе спали под одной и той же сосной. . . »

Вдалеке медленно загнусавила жолна, и одновременно я услышал ритмический хруст хвороста. Неужели опять этот проклятый злодей Николай?

3.5.2 Una notte nel bosco

Metà di aprile. Di notte fa ancora freddo; le paludi e le pozzanghere nei boschi si coprono verso mattina di uno strato di ghiaccio sottile e fragile, ma le giornate sono assolate e tiepide. I germogli appiccicosi delle betulle si sono saziati di linfa primaverile, e nell'aria si sente il loro piacevole profumo resinoso.

Sono questi gli ultimi giorni della caccia al gallo cedrone. Non appena si schiudono le prime tenere foglioline di betulla, i fagiani di monte dalla cresta rossa iniziano il loro appassionato accoppiamento, e i galli cedroni fino all'arrivo dell'autunno smettono di cantare e si vanno a nascondere nelle impervie profondità del bosco. Mi ero già stancato di passare ogni notte nella vecchia casupola, interrata in profondità, dove veniva estratto il catrame. Lì c'è un odore asfissiante di catrame bruciato; le pareti fatte con i tronchi d'albero erano ricoperte di uno strato¹⁰ di fuliggine nera e appiccicosa; ogni volta che si usciva fuori da questa struttura si era completamente sporchi, neri come il diavolo, più inzaccherati di uno spazzacamino; poi era difficilissimo pulirsi per bene le mani e il viso. Inoltre, la perenne presenza del guardaboschi Nikolaj mi diventa sempre più pesante e spiacevole. È inutilmente chiaccherone, chiassoso, adulatorio, fastidiosamente avido e si agita a vuoto. Tuttavia è un eccellente cacciatore: conosce tutte le regole e i segreti sia dei nidi degli uccelli, sia delle tane degli animali; instancabile nella caccia, possiede un fiuto quasi canino e si orienta nel bosco come nella propria isba.

Il guardiano forestale Alekseev un giorno mi aveva confidato che il guardaboschi Nikolaj, in realtà, non è un amante della caccia, ma un avido commerciante di selvaggina e uno scuoiatore¹¹, che uccide le prede per venderle a Rjazan' e a Mosca, passando per la città di Tula, mandandole a tonnellate¹² con l'aiuto di compari, parenti e amici. Inoltre posiziona per gli uccelli e per le bestie delle trappole vietate dalla legge, e sparge esche velenose.

Tutte queste voci riguardanti la scaltrezza di Nikolaj mi interessavano e mi preoccupavano assai poco. Sotto il controllo autocratico di mio cognato, di cui al tempo ero ospite, si trovavano quattrocentocinquantamila ettari dell'ispettorato forestale demaniale di Kuršinski, e a lui era stata affidata anche la sorveglianza dei vicini boschi Kasimov dei fratelli Chludov, che ammontavano a più di centomila ettari; un territorio, come vedete, pari all'estensione di cin-

10. Вершок (veršok): antica unità di misura, una sua unità corrisponde a 4,4 cm

11. Venivano chiamati scuoiatori i cacciatori che uccidevano le prede soltanto con la tecnica dello scuoiamento

12. Пуд (pud): antica unità di misura. 1 pud corrisponde a 16, 83 kg

que o sei principati tedeschi, o ad un qualsiasi territorio limitrofo.

Questo guardaboschi (non soltanto come conseguenza della sua formazione, ma anche per vocazione) ama di un amore serio e attivo la foresta. Aveva fatto innalzare presso ogni cordone di frontiera delle alte torri di osservazione per contrastare i terribili incendi boschivi e non si stancava mai di testare la conoscenza delle norme antincendio delle guardie forestali. Con accanimento perseguita l'abbattimento degli alberi non autorizzato e non ne lascia passare uno. In maniera ancora più severa sorveglianza che nel suo ispettorato forestale nessuno osi accendere il fuoco, soprattutto in estate.

Non si faceva mai corrompere. Quando inizia il periodo della vendita dei vecchi lotti boschivi per il taglio, li concede in primo luogo ai contadini che abitano lì attorno, mentre alle industrie di lavorazione del legname arrivano i resti oppure i preziosi alberi da costruzione che hanno un prezzo molto alto. I contadini questo lo sanno, e apprezzano: per questo motivo non fanno quasi mai brutti scherzi nei suoi boschi e nessuno tocca i suoi preziosi possedimenti.

Ovviamente è a conoscenza del fatto che quasi tutti i suoi guardaboschi vanno a caccia senza la sua autorizzazione. Ma fa finta di non sapere niente.

“Ho una così grande quantità di selvaggina”, dice, “che basta per tutti senza che si registri il minimo calo”. Condivido anche io il punto di vista del mio superiore. Ma il comportamento di Nikolaj durante la caccia talvolta mi infastidisce fino alla rabbia. Sono già quasi tre anni che andiamo a caccia assieme, e tante volte l'ho colto a compiere un tiro losco, cosa di cui, tuttavia, non si può proprio trovare da ridire. Ora mi porta in una radura, dove fin dalla notte dei tempi non è mai comparso né un gallo cedrone né un gallo forcello. Ora invece mi capita di udire da lontano il verso concitato dell'animale che conosco bene, e di correre in direzione di quest'ultimo a passi piccoli e veloci, cercando di non fare rumore. Ecco, ecco... il gallo è già vicino. Ora posso distinguere anche il suono del secondo componente dell'accoppiamento, una specie di sibilo sordo e vigoroso; alzo già la testa, per cercare di scorgere tra i rami del folto pino la sagoma del gallo cedrone... E improvvisamente... un rumore di frasche sotto ai piedi... lo scricchiolio degli stivali di pelle... Il gallo cedrone improvvisamente si fa silenzioso. Dall'oscura boscaglia sbuca fuori la testa di Nikolaj. Sbattendo rumorosamente le enormi ali, il gallo cedrone vola via, e non lo si vede più. Oh, diamine! Nikolaj sussurra:

- Niente da fare, si sono spaventati?

Ovviamente il gallo si era spaventato non per colpa mia, ma del guardaboschi, per una certa sciocca discrezione però io taccio e mi limito a guardarlo con rabbia furiosa. “Non è mica la prima volta che fai questo tiro, mascalzone”.

Ed infatti già qualche altra volta mi aveva fatto scappare un gallo cedrone, ma bastava che iniziassi a cercarne con gli occhi un secondo, che si precipitava

verso di me esclamando:

- San Vanyč! Ahi, ahi, San Vanyč! E avvicinandosi, diceva:

- Io vi ho continuato a chiamare. Mi ero addirittura spaventato. In questo luogo ci sono delle trappole. Basta infilarci dentro un piede, e da lì in alto non riusciresti più a liberarti. Ti risucchia.

Alla fine l'avevo semplicemente cominciato ad odiare per la sua irrequieta premura, e decisi soltanto quel giorno di parlargli con dovuta autorevolezza:

- Basta prenderci in giro, Nikolaj... Adesso che è notte andrò avanti da solo, e te ritornerai a casa tua, al cordone di frontiera. E in questo preciso istante!

Egli lamentandosi iniziò a biasciare:

- Ma per carità, San Vanyč. Come potrei mai lasciarvi da solo? Qui ci sono tante paludi, torrenti veloci che non potreste attraversare, soprattutto di notte. E il padrone del bosco mi farà a pezzi se, dio non lo voglia, vi succede qualcosa. Mi prenderò soltanto cura di voi... Io...

Ma in quell'istante cominciai a urlargli contro in modo terribile. Solo inizialmente mi sentii impacciato e bloccato, poi tutto si fece più facile. Velocemente Nikolaj si vestì e uscì dalla casupola dell'estrazione del catrame. Stetti ad ascoltare a lungo i suoi passi che si allontanavano, finché non mi convinsi che si era davvero incamminato in direzione del sentiero per Kuršin. Alla fine il calpestio cessò.

Era rimasto soltanto un ronzio in entrambe le orecchie e la strana, spiacevole sensazione dell'improvvisa solitudine. Diedi un'occhiata all'orologio: erano quasi le otto. All'improvviso mi sentii in colpa per aver cacciato Nikolaj: prima a quest'ora andavamo a dormire nella casupola, e verso mezzanotte andavamo a caccia. D'altronde poteva essere che io sbagliassi ad attribuire perfide intenzioni al guardaboschi. Vinsi la tendenza ad intenerirmi, mi gettai il fucile in spalla e, senza fretta, mi diressi nel bosco profondo lungo un sentiero stretto, che era stato battuto da poco.

Il sole tramontava. La sua luce era luminosa e chiara, ma placida, e il vento stava cessando: segno quasi certo che l'indomani mattina l'aria sarebbe stata asciutta e non ci sarebbe stato vento. Il tempo più indicato per la caccia al gallo cedrone. Inoltre alcuni uccellini, che erano davvero minuscoli, volavano con incredibile velocità in alto nel cielo che diventava buio: anche questo era un segno che la mattina seguente sarebbe stata serena.

Era già difficile distinguere il sentiero, ma io riposi fiducia nella memoria istintiva delle gambe, che si fa molto perspicace ed ubbidiente nel silenzio e nella semioscurità. Giunsi così allo stretto ruscello di nome Pra, largo in tutto

un paio di metri¹³, che scorreva sorprendentemente veloce. Il suo rumoroso gorgoglio mi aveva raggiunto già da lontano. Da tempo immemorabile era stata gettata attraverso il Pra la *lava*, un ponte rudimentale, dall'aspetto instabile, fatto con grandi tronchi d'albero, legati assieme da fasci di betulla. Stranamente non sono mai riuscito ad attraversare con successo questo ponte ingannevole. E così accadde anche quel giorno: per quanto cercassi di mantenermi in equilibrio, mi toccò comunque finire vicino all'acqua fredda e farla entrare negli stivaloni di pelle, grandi, che arrivavano fin sopra al ginocchio. Dovetti sedermi sulla riva opposta, togliermi le pesanti calzature e svuotarle dall'acqua. Camminando i piedi si scaldarono di nuovo, in maniera piacevole e comoda erano avvolti nella morbida pelle che si stava asciugando. Poi il cammino proseguì senza intoppi. Per esperienza già sapevo, che immergendomi tra i vigorosi tronchi e i cespugli fitti fitti, dovevo sempre muovermi verso est. Allora mi aiutarono sia il tramonto color lilla e oro ad ovest, sia la mia bussola giocattolo, che illuminavo fugacemente con il bagliore della sigaretta. Durante la camminata mi stringo più comodamente sulle spalle lo zaino da viaggio e di colpo sorrido involontariamente: nel profondo silenzio del bosco immerso nella notte, sopraggiunge un pensiero buffo. Mi venne in mente il delizioso poema del nuovo scrittore norvegese Knut Hamsun dal titolo "Pan". Ah! Con quali parole ardenti di passione, con quali immagini incantevoli, il protagonista, l'affascinante tenente Glan, descriveva il bosco e il suo grandioso silenzio... Ma che bosco poteva mai essere, se lungo il sentiero più breve ogni giorno passavano le ragazze del villaggio per andare in città con le brocche del latte? E quale profonda solitudine si poteva mai provare al suo interno, se era tutto ricoperto di mozziconi di sigaretta, carte unte di olio, bucce d'arancia e vetri di bottiglie rotte; di tutte queste immondizie, segni della costante e pressante vicinanza dell'uomo? "Ecco, bisognerebbe, pensavo io, portare lo scrittore norvegese, amante della natura, proprio qui, in questa illimitata area boschiva, in questa foresta in parte ancora incontaminata, estesa su centinaia di migliaia di chilometri quadrati, in uno spazio, pari a metà del continente europeo, popolato da orsi, lupi, alci, volpi, tassi, lepri, linci, scoiattoli, ermellini, martore e migliaia di altri piccoli animali misteriosi; e tutto questo mondo quadrupede si trova in rapporto di vassallaggio con lo spirito del bosco locale, che più di una volta è stato visto dai contadini di Kuršin, soprannominati dalle popolazioni vicine "kurša golovastaja" o "litva nekreščenaja"¹⁴, e molto spesso

13. Сажень (sažen'): Antica unità di misura russa, corrisponde a 2,13 metri

14. I Kuršaki, soprannominati anche "litva", "litva golovastaja", "litva nekreščenaja" erano un gruppo etnografico russo che viveva nel bacino del fiume Kurša (affluente sinistro del

dalle donne che in estate vanno a raccogliere le bacche.”

Ma sta già calando l'oscurità. Se ora si esce all'aria aperta, provenendo da un'abitazione illuminata, si finisce di colpo in una tenebra oscura. Tuttavia il mio occhio si è già abituato, e posso ancora distinguere chiaramente la famosa Vereja, dove devo recarmi. Vereja in questa zona viene chiamata la grande collina, che si innalza alta e ampia sopra la palude. Quasi sempre vi crescono in libertà due o tre forti pini centenari, che finiscono con le loro sommità lontane in cielo, e si estendono a terra con i loro tronchi possenti.

Vedo ancora distintamente nel legno più robusto, coperto di una vecchia corteccia grezza e piena di muschio, un raggio di color oro cupo, proveniente di là da dove, che si protende e quasi trema, l'albero in questo punto sembra fuso dal rame.

Ma il meraviglioso raggio di luce si indebolisce a vista d'occhio, diventa sempre più tenue, si offusca... Ecco che non c'è già più. Devo andare a dormire. Mi distendo in un punto piano e morbido sotto la collina; è sempre così piacevole sdraiarsi all'aria aperta. Tuttavia per molto tempo non riesco a prendere sonno. Il sangue pulsa rumorosamente nelle orecchie, e il mio giaciglio mi sembra sempre più scomodo. Ma ho familiarità con questa situazione già da molto: più cambi posizione girandoti da una parte e dall'altra e dandoti da fare per livellare le piccole buche, le protuberanze e i rami, tanto più il sonno ti sfugge. Provo a stare disteso senza muovermi, sforzandomi di non far caso alle sporgenze e ai rialzamenti che stanno sotto il mio corpo. “E' solo una mia impressione, mi dico. E' la mia fantasia capricciosa. Basta sopportare un pochino, e tutto passerà”. Fa capolino in cielo una falce di mezzaluna sottile, luminosa, come se fosse appena stata lucidata, e solo allora diventa comprensibile, quanto buia e nera sia la notte primaverile. Corre, corre splendente la giovane luna sontuosa e brillante, naviga, come un vascello veloce, trascinando dietro di sé nell'invisibile rimorchiatore una piccola e coraggiosa stellina-barchetta. A volte tutti e due, il brigantino¹⁵ e la piccola scialuppa, di tanto di tanto si immergono nelle nuvole bianche, vaporose e scompigliate e le illuminano di uno splendore arancione, come se là avessero dato fuoco ai rossi brulotti¹⁶.

Non lo so quanto tempo trascorro a scrutare quest'incredibile scena di corsari

fiume Narva), situato nell'oblast' di Rjazan'

15. Il brigantino è uno snello veliero, maneggevole e di dimensioni contenute, dotato di due alberi.

16. Il brulotto è un natante, spesso di piccole dimensioni, caricato con esplosivo o materiali infiammabili, destinato ad essere usato come arma, dirigendolo sulla flotta nemica allo scopo di incendiarne o farne esplodere le navi.

celesti. Il tempo non mi interessa più, come, d'altronde, nessun'altra cosa al mondo. Non mi rendo neanche conto della piacevole sensazione che niente mi stringa, mi opprime, mi pressa. Il sangue smette di ronzare nelle orecchie, ma l'udito si fa straordinariamente preciso e attento.

Lontano, a venti-trenta chilometri, nel laghetto del bosco risuona sibilando il verso grave di quell'eccellente maestra che è il tarabuso: "Dormite, bambini, su-su, dormite". È un uccello di piccole dimensioni, appena più grande di una quaglia, ma ha un suono potente come la voce del protodiacono di una cattedrale o come il verso di un toro di razza arrabbiato, a capo di una numerosa mandria.

Ma si azzittisce ben presto. I piccoli uccellini si salutano l'uno con l'altro nel folto nido: "Cip - cip", "Buona notte!". Dormite bene: "Cip - cip - cip". Il re delle quaglie nella palude stride per l'ultima volta emettendo un lungo suono. Bela come un agnellino la beccaccia che era volata lì per passare la notte. Che silenzio totale! Soltanto il piccolo usignolo, da poco uscito dall'uovo, emette per due volte un fiavole pigolio: sta sognando. Che notte! All'improvviso mi viene in mente una vecchia canzone, risuscitata dall'infanzia:

Alla buon ora, alla buon ora,
Dormite: dio non dorme per voi...

Nelle mia mente sento anche la sua melodia semplice, delicata, simile ad una preghiera. Com'è strano, dolce e piacevole percepire che in tutta l'immensa foresta avviene il grandioso mistero, che gli anziani contadini e guardaboschi molto saggiamente chiamano "risveglio primaverile delle linfe".

L'umida e beata terra mi appare come l'universale e possente Madre, che generosamente offre i suoi illimitati capezzoli a tutti gli esseri viventi, a tutte le piante, a tutti gli organismi che respirano e che glorificano il Creatore. Addentrandosi nel buio sottosuolo, le sue radici delicate e sottili come fili, succhiano instancabilmente, e avido bevono la linfa miracolosa. Cieche ed insensibili, disponendo soltanto dell'istinto divino, non si sbagliano mai. Questa linfa serve al tiglio, questa al mughetto, quest'altra al pino, quest'altra ancora alla felce o al lampone selvatico.

Oh, ore notturne! Quanto lavoro di creazione che si rinnova in voi, quanta vita misteriosa e quanto eterno segreto. Di notte i bambini volano in aria, cadono dal letto e crescono. Di notte i sonnambuli camminano sulle cime, attratti dal richiamo della luna. Di notte si preoccupano e gemono le adolescenti, mentre le donne gravide sentono le prime doglie.

... In quel momento stavo pensando. Ma è successo nel sogno oppure nella realtà? Guardo il cielo. Lì sono in corso grandi cambiamenti. La mezzaluna

è scesa, si è fatta due volte più grande. Si è come gonfiata, arrossata. La piccola barca si è sganciata da lei e si è persa per sempre... Sì, proprio così. Mi ero addormentato per qualche minuto e non me ne ero assolutamente reso conto. La notte si è fatta ancora più silenziosa, più profonda e più fitta. Un suono appena appena udibile echeggia vicino a me, vicino ai miei piedi. Come se qualcuno stesse sussurrando: "Paf". No, per essere più precisi, quello è il suono mite che si sente quando un bambino, perso nei suoi pensieri, schiude le labbra. Ne indovino la causa e con tenerezza sorrido debolmente. È una gemma tutta piena di linfa, si è aperta, e con un rumore sommesso è spuntato il primo petalo. Che felicità! Vivo proprio nel pieno centro, nel tempio delle semplici e intime meraviglie della natura, ed è come se abitassi in una qualsiasi altra casa che conosco bene.

Perché non si fantastica più nel nostro secolo pratico e privo di emozioni? Che regno stupendo e grandioso, per esempio, ho creato io nella mia immaginazione! Qui vivono api selvagge, vespe e calabroni, che ancora non si sono decisi a volare via dai ricoveri dell'inverno, profondi, incolumi dal freddo grazie alla paglia e al muschio. Qui, da qualsiasi parte, in ogni fessura e in ogni crepa, nei meandri della corteccia, dormono di un sonno profondo ma temporaneo le larve e i bozzoli di farfalle variopinte, di eleganti libellule, di qualsiasi tipo di coleottero, di zanzare accanite, di ragni operosi e di tutti i vermi lavoratori che segano, intagliano, piallano, e tutti loro sono necessari per i lavori vari del Creatore. Le enormi abitazioni delle formiche si innalzano formando grandi mucchi, pieni zeppi di una stirpe forte, lavoratrice, accanita e intelligente... Ecco, proverò a fare due calcoli: quanti sudditi avevo in media nel mio regno in ogni metro cubo?

Mi metto a contare. La mia testa è pesante, ciondola. Mi prudono le palpebre. Ah, come di notte, nel bosco, nell'imminenza dell'alba, l'immaginazione si mescola in modo fantastico con la verità, e il sogno con la realtà. Può essere che io avessi di nuovo preso sonno, ma all'improvviso mi ritrovo sveglio e un po' spaventato. Mi è sembrato che qualcuno stesse respirando piano vicino alla mia guancia, e che poi l'avesse toccata con qualcosa di morbido e freddo.

Sobbalzo, mi porto la mano alla guancia su cui è rimasto ancora un che di umido e freddo. Contemporaneamente, senza udire alcun rumore, percepisco il saltellare frequente e frettoloso di qualcuno. Ah! Mio dio! Deve essere qualche animaletto del bosco giunto ad annusarmi. "Diavolo, che cosa qui, nel mio bosco, sta disteso a terra al posto di una grande mucca viva?" Sollevo la testa. Ora già si vede il cielo. È di un uniforme e compatto color acciaio. Mi sento esausto e stanco come dopo un lungo viaggio in treno in un vagone di terza classe. Qualcuno si muove in alto sopra di me, nel folto dei pini... Scruto con insistenza e attenzione. Sì, è un gallo cedrone, sebbene dal mio punto di vista

non sembri più grande di un piccione. Chissà quando era riuscito a posarsi lì, io prima non lo avevo sentito. “Non aver paura, piccolo galletto, - dico tra me e me, - oggi non ti farò del male, non ti sparerò. Oggi io e te abbiamo dormito assieme sotto lo stesso pino...”

Lontano un picchio nero ha iniziato a cantare piano, e contemporaneamente ho sentito un crepitare ritmico di ramaglie. Era forse di nuovo quel dannato furfante di Nikolaj?

3.6 Le beccacce (1933)

3.6.1 Вальдшнепы

Нас только двое: я и бурдастый белый пойнтер Джон, кобель чистой английской породы. Он обладает чудеснейшим верхним чутьем, на охоте строг и неутомим; ни воды, ни болота не боится. Но есть у него один порок, который тонкими охотниками считается совершенно портящим все прекрасные достоинства подружейной собаки. Он, увы, равнодушен к зайцам. В прошлом году лесной объездчик Веревкин, натаскивая Джона, прозевал по небрежности, что полем, прямо на Джона, мчится, как оголтелый, осенний русачище. Ему бы тут надлежало сейчас же остановиться, притянуть к себе пса за ошейник и легонько его образумить плетью: «Ты, мол, сукин сын, – собака благороднейших кровей, и не тебе, как какому-нибудь выжлецу, гоняться за зайцами». А когда Веревкин успел опаматоваться, пойнтер уже нагнал косоглазого и весь в крови заячьей стал его освежевывать. Правда, потом Веревкин отнял у него косоного, но что тут толку? Хлебнувши горячей заячьей крови, стал английский кобелек совсем никуда не годным. Пробовали его и учить, и стыдить, и уговаривать, и наказывать, и плеткой его лупили несосветимо. Нет, ничем невозможно было у него эту страсть чертовскую из души выбить. Бывает, учует, Бог знает из какой дали, красную дичь: бекаса, дупеля, перепелку, утку, тетерева, глухаря; учует и тянет по нему. Весь, как струна. Не дышит, ни кустиком, ни веточкой не зашуршит. Только на охотника оком взирает: «Видишь? Идешь?» И вот в этот-то напряженный момент, когда охотник весь дрожит от волнения, принесет нечистая сила сумасбродного русака, и прощай всё. Ведь за полверсты их, проклятиков, Джон учуивал. Бросит живой, пахучий след и айда сломя голову. Только его и видели. Вернется домой к вечеру. Морда вся в крови. Бить его станут – молчит: «Знаю, мол, что виноват, и сам не рад этой противной шали. А вот ничего с ней поделывать не могу. Бейте! Заслужил!»

Да и сам объездчик Веревкин, после того как знаменитого пса испортил,

стал шибко винцом баловаться и охотничий азарт потерял. А какой был охотник! какой знаток! По охоте-то он во всей Новгородской губернии вторым после великого охотника, Константина Иваныча Трусова, помещика, считался. И вот погиб человек за собаку.

Но теперь, в этот весенний вечер, и я и Джон оба идем спокойные и уверенные в себе. Ничто на свете нас не волнует, кроме того, что сейчас вот-вот из неведомой дали послышатся первые едва внятные звуки вальдшнепиной тяги. И никакие зайцы нам не помешают. Осень и зима – вот это заячьи времена года, когда зайцы бегают по чернотропу и испещряют следами белые снега. А ранней весной зайцы куда-то исчезают, прячутся, а куда именно – никому не известно из людей и охотников.

Начинающее потухать синее небо все в белых барашках; закат тихий, розовый – приметы хорошей погоды на завтрашний день.

Мы уже давно и далеко отошли от человеческих домов; идем узкими тропами, наезженными колеями, переходя через болота, ручьи и речушки по древесным гатям, которые местные крестьяне называют лавами. Нам надо найти такое гладкое и сухое местечко, которое, с одной стороны, было бы удобно для прицела и выстрела, а с другой – заманчиво для вальдшнепов, пролетающих в блаженном безумии всемогущего тока.

Пахнет завязями ольхи: ее длинные сережки терпко благоухают, подобно клейкому тополю. Березовые распускающиеся листочки посылают свой смолистый аромат. Джон начинает волноваться. Его слух, конечно, слабее, чем у кошки, но он во много-много раз острее, чем у человека, которого природа скудно одарила всеми чувствами, дав ему взамен огромное обладание умом, делающим его то великим, то несчастным.

Для меня уже несомненно, что Джон в расстоянии, недоступном для моего слуха, успел поймать и опознать звуки вальдшнепа, стремительно летящего на ток. Я пристально гляжу на собаку, как красив в эту минуту гладкий, белый, сильный, весь дрожащий пойнтер. Его нетерпеливая морда обращена на северо-восток. Каждый мускул его напряжен изо всей силы. Я знаю, что ему хочется визгом известить меня, тугоухого: уже близко передовой вальдшнеп. Но на охоте есть суровый закон, строго запрещающий в охоте на дичь и людям и собакам всякие звуки и слова, не идущие к делу; и Джон молчит, содрогаясь всеми мускулами тела. И в его глазах, с мольбою обращенных ко мне, я ясно читаю:

«Да неужели ты не слышишь, жалкий, беспомощный человек, что он летит на нас, что он уже близок. Бери же, наконец, в руки свое железное длинное орудие, которое извергает гром, и огонь, и смерть. Зачем ты тянешь время? О глупое, неловкое животное, лишенное благородных инстинктов!»

Мне становится стыдно перед собакой, и я загораюсь охотничьим пламенем, уши мои как будто бы разверзаются, и теперь с ясностью и со страстью я узнаю снова давно знакомые мне два колена вальдшнепиной тяги. Сначала два харкающих звука, хру-хру, и тотчас же за ними два нежных свистка, фью-фью.

– Хру-хру, хру-хру, фью-фью. Хру-хру, фью-фью, хру-хру, фью-фью.

У кого из ружейных охотников не дрожали руки и не холодели щеки при первом выстреле в весеннего вальдшнепа на току? Так и я с бледными губами и с дрожащим сердцем навел прицел. Вальдшнеп летел прямо как пуля. Я нажал на собачку. Ахнул со звоном оглушительный выстрел. Загудело в ушах, приклад больно отдал в левое плечо [1], и сурово запахло порохом.

Джон, неистово трясясь от восторга, спрашивал глазами: «Что же не велишь принести птицу? Ты только приказывай, о огненный человек. Ты только бей их, а я тебе их всех до одного перетаскаю, хоть всех, которые есть на свете».

– Шерш, – сказал я, и Джон красиво, точно в воду, нырнул в глубокую чащобу. Он выкатился из кустов не позже двух минут, но за это время я успел увидеть сквозь темнеющий закат, что против меня на пригорочке в камышах стояла Устинья, старшая дочка лесника, здоровая, веселая и красивая девка. Я пригрозил ей несердито пальцем – не шуми, мол, и деревьев не шатай. И она, понявши, успокоительно кивнула два раза головой: «Это я понимаю, недаром лесника дочка».

Я убил за эту тягу двенадцать вальдшнепов. Все плечо отбило тяжелое ружье, да и устал я. Джон разбиделся на меня – зачем прекращаешь охоту. У них теперь самый лёт пошел. Всех бы их перебили, сколько есть на свете. Но я уперся. Был у меня такой охотничий завет: убей столько, сколько съесть можешь, а больше стрелять – уж это совсем напрасно. Я и так четыре штуки по глупой жадности ухлопал. Пришлось отдать в подарок Устинье. Уж очень смешно с ней торговаться было. Языкатая она девчонка была. Я говорю:

– Вот тебе, Устюша, четыре вальдшнепа, а ты меня один разок поцелуй.

– Эка, ты бесстыжий какой. Да ведь мы с тобой на крестинах у Бобылевых покумились, кумом да кумой сделались. А кумовьям – ты спроси хоть любого попа, он тебе скажет, что куму и куме любовью заниматься – это грех самый тяжелый и непростимый.

– Да то любовь, а то поцелуй с кумой, и на Пасхе и при водочке целоваться нисколько не зазорно.

– Так ты и приходи на Пасху, тогда я тебя и три раза с удовольствием расцелую.

– Да постой, Устюша, ты это дело не с той стороны разбираешь. В брак мы с тобой, кума с кумом, никак не можем вступать, и поп нас венчать никогда не станет. А целоваться-то нам ничуть не заказано, и целоваться мы можем, где захотим и сколько захотим, и нам это будет отнюдь не поцелуй, а как бы ликование безгрешное, апостольское.

А она вдруг как расхохочется.

– Знаю я это, знаю. . . Ты его считай за апостола, а он хуже кобеля пестрого. Вон на Джонкин манер. . .

Славная она была девка, эта Егорова Устюша.

А перед войной я жениха нашел подходящего, помощника механика на паровозе, Ильюшку Лаптева. Сам и посаженным отцом был у них на свадьбе. Эх, парочка какая была ладная. Посмотреть было любо на них.

Да вот пришла эта война проклятущая, а потом эти колхозы и другая неразбериха. И где они все: и лесник Егор, и Ильюша с Устюшей, и объездчик Веревкин, и все грамотные лесничие, и охота русская, и хозяйство русское, и прежние наши охотничьи собаки. Все как помелом смело. Ничего не осталось. А почему? Кто это объяснит?

Темнеет. Трудно видеть предметы. Я укладываю в ягдташ длинноносых вальдшнепов и перекидываю через плечо ружье. Добрый, ласковый голос Устюши спрашивает:

– Ужинать домой пойдете или у нас, у батюшки, поужинаете?

– Если можно, то, пожалуй, к вам пойду.

– Да сделайте милость. Вы парочку птиц мне дайте, я вперед побегу и для вас кулеш состряпаю.

– Прекрасно, – говорю я. И я отлично знаю, что Устюшу вовсе не кулеш с вальдшнепом интересуется, а мои незатейливые рассказы о морях, горах, народах, обычаях.

Ум у нее светлый, любопытный и никогда не насытимый.

3.6.2 Le beccacce

Siamo soltanto in due: io e John, un pointer bianco dal pelo lungo, un cane di pura razza inglese. Ha un fiuto incredibilmente sviluppato, è forte e instancabile a caccia; non ha paura né dell'acqua, né delle paludi. Tuttavia ha un difetto. Benché sia "piccolo", i cacciatori ritengono gli faccia perdere completamente tutte le belle qualità di cane fedele.

Egli, purtroppo, ha un debole per le lepri. L'anno scorso in autunno la guardia forestale Verevkin, mentre addestrava John, non si accorse, per negligenza, che nel campo una lepre correva scatenata proprio verso il cane. In quel momento avrebbe dovuto fermarsi, tirare a sé John per il collare e calmarlo, colpendolo piano con la frusta: "Tu, sciagurato, che hai sangue nobile, non dovresti met-

terti a dare la caccia alle lepri, come se fossi un cane qualsiasi”. Ma quando Verevkin si accorse di ciò che stava succedendo, il pointer aveva già raggiunto la lepre e, tutto ricoperto dal sangue di questa, si era messo a scorticarla. Poi in verità Verevkin gliela tirò via, ma perché poi? Essendosi bevuto il sangue caldo della lepre, il cane inglese era diventato un pessimo cucciolo.

Provarono ad istruirlo, a rimproverarlo, ad ammonirlo, a dargli degli ordini, e lo bastonarono forte con la verga. Niente, in nessun modo era possibile toglierli dall’animo questa straordinaria passione. Fiuta, dio sa da quale distanza, le quaglie, le beccacce, i croccoloni, gli urogalli, i galli cedroni: li fiuta e li va a scovare. Come se venisse tirato da una corda. Non respira, non fa rumore né con le foglie né con i rami. Alza lo sguardo soltanto verso il cacciatore. “Hai visto? Vai?”. E allora, proprio in quel momento di tensione, quando il cacciatore trema tutto per l’agitazione, arriva la maligna e spericolata lepre grigia, e tutto va in fumo. Nonostante la distanza di mezzo chilometro, John le fiutava, quelle maledette. Lascia perdere le impronte fresche e odorose, e via corre a rotta di collo. Scompariva dalla vista. Torna a casa verso sera. Il muso tutto sporco di sangue. Lo cominciano a picchiare - lui resta in silenzio. “Lo so, ho sbagliato, e io stesso non sono soddisfatto di questo comportamento errato. Ma non posso farci nulla. Picchiatemi! Me lo merito”.

Lo stesso guardiano Verevkin, dopo aver mandato in rovina il famoso animale, iniziò a dilettersi molto con il vino e perse il fervore da cacciatore. E che razza di cacciatore era stato! Che intenditore! Ed ora era tutto finito per via di quel cane.

Tuttavia adesso, in questa sera di primavera, sia io che John camminiamo tranquilli e sicuri nell’animo. Nessuna cosa al mondo ci preoccupa, soprattutto adesso che da una certa distanza si sentono i primi suoni appena distinguibili del verso della beccaccia. E non vi sono lepri che ci disturbano. L’autunno e l’inverno, ecco i momenti dell’anno in cui le lepri corrono lungo i sentieri scuri e ricoprono la neve bianca con le impronte delle loro zampe. All’inizio della primavera invece scompaiono da qualche parte, si nascondono...

Il cielo aveva iniziato a farsi sempre più blu tra le nuvole bianche a pecorelle. Il tramonto era silenzioso, rosa: segni che l’indomani il tempo sarebbe stato buono. Ci eravamo già allontanati molto dalle abitazioni; camminavamo per sentieri stretti, battuti dalle ruote, che passavano per la palude, i torrenti e i fiumi attraverso ponteggi di legno, che i contadini del posto chiamavano “colate di lava”. Avevamo bisogno di trovare un posticino pianeggiante e asciutto, che, da un lato, fosse adatto a prendere la mira e a sparare, e dall’altro fosse allettante per le beccacce, che vi sarebbero volate nella beata follia dell’accoppiamento.

C’è profumo di ontano in fiore. Le sue lunghe infiorescenze odorano aspra-

mente, come la linfa appiccicosa del pioppo. Le foglie dischiuse delle betulle emanano il loro aroma resinoso. John inizia ad agitarsi. Il suo udito, più debole ovviamente di quello dei gatti, è comunque assai più sensibile di quello dell'uomo, che la natura ha dotato scarsamente con i cinque sensi, avendogli dato in cambio un'enorme facoltà d'intelletto, eccelso per alcuni, e misero per altri.

Io sono già indiscutibilmente sicuro, che John, ad una distanza inaccessibile al mio udito, è riuscito a cogliere e ad identificare i suoni della beccaccia, giunta precipitosamente ad accoppiarsi. Io scruto con attenzione il cane mentre trema tutto, com'è bello in questo momento il mio pointer, liscio, bianco, robusto! Il suo muso impaziente rivolto a nord-est. Ogni suo singolo muscolo teso con tutte le forze. So che guaendo vuole avvisare me, duro d'orecchi, del fatto che la beccaccia è ormai vicina.

Tuttavia nella caccia c'è una legge severa, che vieta categoricamente durante l'appostamento, sia agli uomini che ai cani, di emettere qualsiasi suono o parola che non riguardi l'attività in corso; e John sta in silenzio, fremendo con tutti i muscoli del corpo. E nei suoi occhi, che supplichevoli mi guardano, io leggo chiaramente: "Davvero non senti questo lamentoso e indifeso "če-k", non senti l'uccello che vola verso di noi ed è già vicino? Su, impugna il tuo lungo fucile di ferro, che produce rumore, fuoco, e morte. Perché perdi tempo così? Provo vergogna davanti al cane, e anche io mi infiammo dell'ardore della caccia, le mie orecchie era come se si fossero spalancate, e ora con chiarezza ed eccitazione sento di nuovo i due suoni dell'accoppiamento della beccaccia che conoscevo bene. All'inizio due versi gutturali "chru-chru", poi due leggeri fischi "fiu-fiu". - "Chru-chru, chru-chru, fiu-fiu. Chru-chru, fiu-fiu, chru-chru, fiu-fiu". A quale cacciatore con il fucile tra le braccia non tremano le mani e non si raggelano le guance al primo sparo diretto verso la beccaccia in pieno accoppiamento primaverile? Così io con le labbra pallide e il cuore che batteva forte presi la mira. La beccaccia volò diritta, come una pallottola. Mi appoggiai al cane. Lo sparo assordante rimbombò. Cominciarono a fischiarmi le orecchie, il calcio del fucile mi colpì dolorosamente la spalla sinistra, e comincio a sentirsi l'aspro odore della polvere da sparo.

John, trepidando con furia per l'entusiasmo, chiedeva con gli occhi; "Perché non mi ordini di andare a prendere l'uccello? Devi solo comandarmelo, uomo colmo di ardore. Tu uccidili soltanto, e io te li porterò qui un ad uno, tutti gli uccelli che ci sono al mondo".

- Cherchez-, dissi, e John si tuffò splendidamente, come se entrasse in acqua, nella profonda boscaglia. Sbucò fuori dai cespugli non più di due minuti dopo, ed io intanto ero riuscito a vedere nella luce del tramonto che si faceva via via più buia, che di fronte a me sopra ad una collinetta immersa tra le canne c'era

Ustin'ja, la figlia più grande del guardaboschi, una ragazza in gamba, allegra, e bella.

Senza arrabbiarmi la ammonii con il dito: non fare rumore, e non scuotere i tronchi. E lei, avendo capito, tranquilla annuì con il capo per due volte: “Capisco, non per niente sono la figlia del guardaboschi”.

Uccisi in quella battuta di caccia dodici beccacce. Il pesante fucile mi aveva fatto male alla spalla, ed ero stanco. John si offese a morte con me: “Per quale motivo interrompi la caccia? È proprio il momento buono. Potremmo uccidere tutte le beccacce di questo mondo”. Ma io mi impuntai. Avevo questa legge nel cacciare: uccidi tanti animali, quanti ne riesci a mangiare, gli altri li ammazzerai per niente. Quindi avevo fatto fuori quattro bestie per ingordigia. Conveniva regalarle a Ustin'ja. Già in precedenza era stato divertente mercanteggiare con lei. Era una ragazza senza peli sulla lingua. Dissi:

- Eccoti, Ustin'ja, quattro beccacce, e tu in cambio mi dai un bacio.

- Ma senti un po', che spudorato. Ci siamo imparentati con il battesimo dai Bobylev, diventando cugini, e tra cugini, puoi chiederlo a chiunque, e la risposta sarà sempre la stessa: tra cugini innamorarsi è il peccato più grave e imperdonabile.

- Sì ma un conto è l'amore, e un conto è un bacio, e non c'è di che vergognarsi a baciarsi in prossimità di Pasqua con il proprio cugino con po' di vodka in corpo. - Allora vieni il giorno Pasqua, e io con piacere ti bacerò tre volte.

- Aspetta un attimo, Ustiuša, tu non ci vedi chiaro in questo affare. Io e te, cugina e cugino, non potremmo mai unirvi in matrimonio, neanche il papa ci potrà mai sposare. Ma baciarsi non ci è assolutamente proibito, possiamo farlo, dove lo desideriamo, e per noi non sarà affatto un bacio, ma una gioia senza peccato, una gioia apostolica. Ed ella all'improvviso scoppiò in una risata fragorosa.

- Macchè apostolo e apostolo! Mica ci casco!

Era una ragazza davvero simpatica, questa Egorova Ustjuša.

Prima della guerra le trovai un fidanzato appropriato, assistente meccanico di una locomotiva a vapore, Iljuška Laptev. Fui io stesso il loro padrino di nozze. Eh, erano proprio una bella coppia. Com'era piacevole guardarli...

Si fa buio. E' difficile distinguere le sagome degli oggetti. Mi distendo sul carniere degli uccelli dal lungo becco e mi getto il fucile in spalla. La voce piacevole e tenera di Ustioša chiede:

- Per cenare andrete a casa o vi fermerete da noi, a casa della nonna?

- Se posso, verrei volentieri da voi.

- Fatemi un favore allora. Datemi un paio di beccacce, io in velocità vado a cucinarvi della polenta di grano.

- Ottimo, dissi io. E sapevo benissimo che ad Ustjuša non interessava affatto

la polenta di grano con le beccacce, ma i miei semplici racconti di mari, montagne, popoli, stili di vita.

Aveva una mente splendente, piena di curiosità, e mai sazia di nuove conoscenze.

3.7 Ral'f (1934)

3.7.1 Ральф

Быть может, что среди харьковцев, в эмиграции сущих, найдутся пожилые люди, у которых в далекой памяти еще остался, хотя бы по рассказам старожиллов, знаменитый и замечательный пес с кличкой Ральф. Был он рыжий кобель, породы ирландских сеттеров и, очевидно, хороших кровей. Как он попал к почтовому чиновнику, коллежскому регистратору Балахнину – вопрос навеки остался неразгаданным и таинственным. Известно было лишь то, что Балахнин приехал в Харьков и поступил на службу уже вместе со своей собакой.

Харьков – город чрезвычайно значительный. Он – как бы пуп и центр русской металлургии и каменноугольного дела, но по своим размерам, по великолепию и огромности домов, по аристократическому шику жизни и по блеску парижских костюмов, по обилию безумных развлечений он стоял куда ниже не только столиц, но и таких губернских городов, как Киев и Одесса-мама.

Жить в нем тесновато и скучновато, несмотря на университет и театр. Нет ничего мудреного, что слухи о необыкновенной дрессировке почтамтской собаки Ральфа обошли весь Харьков, и оба друга, двуногий и четвероногий, обрели прочную славу, которая, кстати, благоприятно влияла на скромную карьеру Балахнина.

Сказать о Ральфе, что он был дрессированной собакой, – это, пожалуй, значило бы то же самое, что назвать гениального композитора – тапером. Хороших маэстро было много, но один из них был – Бетховен, таков же был и Ральф в собачьем мире. Он просто и ясно понимал каждое слово, каждый жест и каждое движение хозяина.

В памяти и в понимании Ральфа была, по крайней мере, целая тысяча слов, и повиноваться их значению было для него серьезным долгом и великой радостью.

Обращаясь к собаке, Балахнин никогда не прибегал к обычным, дрессировочным восклицаниям: «Вьен иси, апорт, тубо, шерш» [1] и так далее. . . Нет, он просто говорил с ней ровным, чистым человеческим голосом, как бы обращаясь к другому человеку. Он никогда не кричал на Ральфа и говорил ему неизменно на «вы». «Ральф, принесите мне папиросы и спички», – и собака ловко и быстро приносила поочередно портсигар и спичечную коробку. «Ральф, где моя зеленая тетрадка, где мой красный карандаш?» – и Ральф тотчас же являлся с этими вещами.

Давно уже всем известно, что собаки, отличающиеся несравненным обонянием и прекрасным слухом, всегда немного слабы зрением и часто страдают дальтонизмом, но Ральф отлично разбирался в основных цветах: белом, черном, синем, зеленом, желтом и красном. К тому же, находясь при хозяине, он никогда не терял из глаз его лица, поминутно описывая круги. Случалось, что на большом общественном гулянье Балахнин говорил: «Ральф, пойдите и поздоровайтесь с вон той дамой в платье такого-то цвета и со страусовым пером на голове». И тут же Балахнин высоким поднятием руки изображает роскошный плюмаж. Собака немедленно повинуется. Она зигзагообразно пробирается сквозь толпу на свободные места, ловя взорами указанную даму. Порой она оборачивается на хозяина, стараясь узнать по движению его головы и ресниц: «Верно ли иду? Не ошибаюсь ли?»

Оказывается, все обошлось хорошо. И довольный собою, счастливый пес тычет розовым мокрым носом в нежную ручку дамы, невзирая на ее негодование.

Балахнин жил где-то на краю города, нанимая одну комнату и будучи на хлебником у толстой просвирни. Там, в домашнем хозяйстве, Ральф уже давно нес обязанности по доставке провианта. Все мелкие лавки: мясная, рыбная, бакалейная, пивная, монопольная и прочие – были знакомы Ральфу, как свое жилище. Стоило Балахнину или Секлетинье Афиногеновне поставить на пол кожаную сумку, в которую защелкивались: краткая записка лавочнику, заборная книжка и деньги в бумажке, как уже Ральф начинал радостно волноваться, предвкушая самую важную и любимую прогулку. Тогда ему называли предмет купли и открывали дверь. Тотчас же, завив хвост девятым номером, Ральф выбегал на улицу. Он никогда не ошибался лавками, потому что все они были запечатлены в его памяти обонятельными, вкусовыми чувствами. Так же спокойно и серьезно воз-

вращался он домой, окончив поручение; никто не обижал его. Лавочники ценили в нем деловитую солидную особу, неистовые уличные мальчишки видели в нем славу и гордость квартала. Собаки никогда не вызывали его на драку. У этого милого и умного народа, у собак, есть свои непреложные законы, в числе коих, между прочим, говорится: «Когда человек работает вместе с тобой, считай это за честь и помогай ему, насколько хватит твоих сил, а работающей собаке никогда не мешай».

Рекорд ума и находчивости, поставленный Ральфом, был тем более неожидан и блестящ, что в то время Шерлок Холмс еще не появлялся в свет, а немцы не тренировали злых доберман-пинчеров на ловлю преступников.

Тогда позднею весной, на пасху, был устроен харьковской губернаторшей в ее парке большой благотворительный вечер в пользу недостаточных студентов, на открытом воздухе с цыганами и артистами, с лотереями и шампанским. Главной особой, для которой давалось торжество, была кузина губернаторши, важная придворная статс-дама. И вот, когда воздух потемнел и стала падать ночь, статс-дама закричала жалобным голосом: «Ах, мое кольцо! Ах, мое бриллиантовое кольцо! Куда, куда оно делось?» Произошла сумятица. Затормошилась полиция. Длинноусый обер-полицеймейстер сделал страшное лицо. Взволнованная публика требовала, чтобы все посетители были подвергнуты обыску. Входы и выходы были заперты. Никакие полицейские меры, однако, не помогали. Тогда вызвался почтамтский чиновник Балахнин.

– Позвольте, ваше сиятельство, – сказал он огорченной даме, – позвольте, я пушу по следу вора мою собаку, ирландского сеттера Ральфа.

– Ах, пожалуйста, сделайте милость! Ведь кольцо это – фамильное сокровище нашего рода, подаренное царицей Екатериной Великой моему прапрадеду.

Полиция подтвердила, что собака действительно очень умна и всему городу известна своим примерным поведением. Дала статс-дама обнюхать Ральфу свое манто, свое платье, руки и перчатки. Начальство отрядило на помощь Ральфу двух сыщиков, и они пошли вчетвером.

Ральф сразу понял, что от него ждут. . . Сначала нырнул в узкий забытый лаз на краю сада, а потом повел и повел, ни разу не сбившись со следа, пока не привел в гостиницу Коняхина, где собиралось всяческое ракло. А

войдя в трактир, Ральф прямо остановился перед столом, где бражничал известный всему Харькову Митька Логунов, опустившийся дворянский сын, скандалист, мошенник и пройдоха. Сыщики его – цап! – где колье? Не стал и-отлынивать. Сразу вытащил из-за пазухи. «Эту вещицу, говорит, я на улице нашел и только что собирался объявить о ней. . . в участке».

Статс-дама со слезами на глазах горячо благодарила Балахнина. Предлагала за труды хорошее вознаграждение, но Балахнин вежливо отказался:

– Это не я сделал, а мой друг Ральф. Дайте ему из вашей милой ручки кусок сахара. Он очень доволен останется.

Тут и конец об этой необыкновенной собаке. Надо прибавить лишь одно. Знатная дама все-таки прислала Балахнину из Петербурга золотой жетон с надписью: «Я Ральф – друг людей».

Многие люди, знавшие или только видевшие знаменитого харьковского пса, говорили: «Жаль только, что он лишен дара речи». Но кто знает, был ли бы счастлив говорящий Ральф?

3.7.2 Ral'f

Può essere che tra gli abitanti di Char'kov che sono emigrati ci siano persone anziane, nella cui remota memoria è rimasto il ricordo, sia pure per averlo sentito raccontare dagli antichi nativi del posto, del famoso e fantastico cane di nome Ral'f. Era un cane dal pelo rosso, un setter irlandese, di razza pura. Come fosse capitato nelle mani del funzionario postale¹⁷, il responsabile d'ufficio Balachnin, rimase per sempre una domanda irrisolta e misteriosa. Si sapeva soltanto che Balachnin era giunto a Char'kov e aveva trovato impiego assieme al suo cane.

Char'kov è una città straordinariamente importante. È come se fosse l'ombelico, il centro dell'attività metallurgica e carbonifera, ma per le sue dimensioni, per la bellezza e l'enormità delle case, per la raffinatezza aristocratica della vita e lo splendore degli abiti parigini, per l'abbondanza di folli intrattenimenti, non poteva competere non soltanto con la capitale, ma anche con le città di governatorato come Kiev e Odessa.

17. In russo definito коллѣжский регистратор о станционный смотритель. Questi funzionari postali occupavano il quattordicesimo gradino nella scala dei ranghi sociali dei secoli XVIII e XIX

L'ambiente a Char'kov era piuttosto asfittico e noioso, nonostante ci fossero l'università e il teatro. Non c'è nulla di sorprendente nel fatto che le voci sull'insolito addestramento di Ral'f, il cane dell'ufficio postale, avessero circolato in tutta la città, e nel fatto che entrambi gli amici, quello a due gambe e quello a quattro zampe, avessero acquistato una solida fama, la quale, tra l'altro, influiva in maniera favorevole sulla modesta carriera di Balachnin.

Dire che Ral'f era un cane addestrato, sarebbe, scusate, come definire un compositore geniale un pianista da cabaret. Ci sono stati molti musicisti di alto livello, ma solo uno di loro è diventato Beethoven, a cui si può paragonare Ral'f nell'universo canino. Semplicemente e con ogni evidenza capiva ogni parola, ogni gesto e ogni movimento del padrone.

Nella memoria di Ral'f c'erano almeno mille parole che egli poteva capire, e ubbidire al loro comando era per lui un compito importante e una grande gioia. Per rivolgersi al cane, Balachnin non ricorreva mai alle solite esclamazioni da addestramento: "Venez ici, portez, tout beau, cherchez" e così via... No, egli parlava con tono pacato e con voce normale, come se stesse comunicando con un altro uomo. Non sgridava mai Ral'f e gli si rivolgeva dandogli invariabilmente del "voi".

"Ral'f, portatemi le sigarette e i fiammiferi", - e subito il cane soddisfatto conduceva prima il portasisigarette e poi la scatolina dei fiammiferi. "Ral'f, dov'è il mio quaderno verde? E la mia matita rossa?" - e Ral'f immediatamente compariva con queste cose.

Già da molto tempo è noto a tutti che i cani, che si caratterizzano per l'incredibile olfatto e l'eccellente udito, sono sempre un po' deboli di vista e spesso soffrono di daltonismo, ma Ral'f riconosceva perfettamente i colori base: bianco, nero, blu, verde, giallo e rosso. Per di più, quando stava vicino al padrone, teneva gli occhi fissi sul suo viso, facendoli continuamente roteare. Succedeva che in qualche grande festa collettiva Balachnin dicesse: "Ral'f, andate a salutare la signora con il vestito del tal colore e con la piuma di struzzo in testa". E Balachnin con la mano alzata rappresentava il raffinato piumaggio. Il cane obbediva subito. Si faceva strada a zigzag attraverso la folla passando per gli spazi liberi, cercando con lo sguardo la dama indicatagli. A volte si girava verso il padrone, cercando di capire dal movimento della sua testa e delle sue ciglia se stava andando nel verso giusto e se non stesse sbagliando.

Tutto andava a finire bene. Soddisfatto di sé stesso, il cane ficcava felice il suo naso rosa e bagnato nella delicata mano della dama, senza badare al suo disappunto. Balachnin abitava ai margini della città, affittando una stanza consumando i pasti presso una grassona che faceva l'inserviente in una chiesa. Ral'f già da molto tempo adempiva diverse mansioni per la consegna dei viveri, collaborando nell'attività familiare. Tutte le piccole botteghe quella della

carne, quella del pesce, la drogheria, la birreria, l'emporio, e le altre restanti Ral'f le conosceva come la sua abitazione. Bastava che Balachnin o Sekletin'ja Afinogenovna appoggiassero sul pavimento la borsa di pelle nella quale riponevano una breve lista per il bottegaio, il libretto dei conti, e i soldi, che Ral'f iniziava già ad agitarsi contento, pregustando la passeggiata più importante, che era anche la sua preferita. Allora nominavano l'oggetto dell'acquisto e gli aprivano la porta. Subito, attorcigliando la coda a forma di numero nove, correva fuori. Non faceva mai confusione con le botteghe, perché erano contrassegnate nella sua memoria da sensazioni legate all'olfatto e al gusto. Allo stesso modo, tranquillo e serio se ne tornava a casa, dopo aver portato a termine il suo incarico; nessuno gli faceva del male. I bottega apprezzavano in lui l'indole concreta e pratica, i ragazzini di strada sfrenati vedevano in lui la fama e l'orgoglio del quartiere. I cani non lo sfidavano mai a combattimento. Questa specie intelligente e buona, quella dei cani appunto, ha delle leggi immutabili, tra cui una che dice: "Quando un uomo lavora assieme a te, ritienilo un onore e aiutalo tanto quanto le tue forze te lo permettono, e non disturbare mai un cane all'opera". Il record di intelligenza e intuito, raggiunto da Ral'f, era tanto più incredibile e brillante, dal momento che Sherlock Holmes non era ancora venuto al mondo e i tedeschi non addestravano i violenti doberman-pincher alla cattura dei criminali.

A tarda primavera, a Pasqua, venne organizzata dalla moglie del governatore di Char'kov, al parco, una serata di beneficenza a favore degli studenti in difficoltà, all'aria aperta, con gitani e artisti, lotterie e champagne. La figura principale, alla quale si dedicava la festa, era la cugina della moglie del governatore, un'importante dama di corte. Quando il cielo si fece buio e cominciò a scendere la notte, la dama di corte gridò con voce lamentosa: "Ah! Il mio collier! Ah, il mio collier di brillanti! Dov'è finito?". Seguì un trambusto, la polizia si mise in movimento. Il capo delle forze di polizia dai lunghi baffi assunse una strana espressione in viso. Il pubblico agitato esigeva che tutti i presenti fossero sottoposti a perquisizione. Le entrate e le uscite vennero bloccate. Tuttavia, nessuna delle misure prese dalla polizia servì. Allora venne chiamato Balachnin, il funzionario delle poste.

– Permettete, vostra maestà, disse egli alla rammaricata signora, – permettete che io sguinzagli il mio cane, il setter irlandese Ral'f, alla ricerca del ladro.

– Ah, sì, mi faccia questa cortesia! Questo collier è un tesoro della nostra famiglia, regalato dalla zarina Caterina la Grande al mio trisavolo.

La polizia confermò, che il cane era effettivamente molto intelligente ed era conosciuto da tutta la città per la sua condotta esemplare. La dama di corte diede a Ral'f da annusare il suo mantello, il suo vestito, le sue mani e i suoi guanti. I superiori inviarono in aiuto di Ral'f due agenti, ed essi partirono in

quattro.

Ral'f capì subito, che si aspettavano da lui grandi cose... Inizialmente si precipitò in uno stretto passaggio dimenticato al confine del giardino, e poi li portò sempre più avanti, senza deviare dalle tracce, finché non li condusse alla locanda di Konjachin, dove si radunavano tutti i tipi di criminali. Entrando nella taverna, Ral'f si fermò direttamente dietro al tavolo, dove gozzovigliava Mit'ka Legunov, famoso in tutta Char'kov, figlio di nobile famiglia caduto in rovina, un uomo rissoso, un truffatore e un marpione. Gli agenti lo acciuffarono e gli domandarono dove fosse il collier. Egli non si mise neanche a cercare di sottrarsi. Lo estrasse subito dalla giacca. "Questo oggettino, disse, l'ho trovato per strada e proprio ora stavo andando a dichiararlo alla stazione di polizia". La dama di corte con le lacrime agli occhi ringraziò calorosamente Balachnin. Gli offrì un'alta ricompensa per la sua impresa, ma Balachnin rifiutò cortesemente: "Non è opera mia, ma del mio amico Ral'f. Dategli dalla vostra gentile mano un pezzettino di zucchero. Ne sarà felice.

Questo è quanto, riguardo al nostro straordinario cane. È necessario aggiungere ancora un'altra cosa. La nobile dama inviò comunque da San Pietroburgo un gettone d'oro con la firma: "Io sono Ral'f, amico degli uomini".

Molte persone che conoscevano o che soltanto avevano visto il famoso cane di Char'kov, dicevano: "È un peccato che gli manchi il dono della parola". Ma chi lo sa, sarebbe stato felice Ral'f se avesse saputo parlare?

Capitolo 4

Contestualizzazione e approfondimento delle storie tradotte

4.1 La genesi e la diffusione della favola

In *Pesik*, *Nasino nero*, in *Yu-yu*, *Ralf* e *Balto* l'eroe del racconto è sempre un animale: tale caratteristica riconduce all'antico genere della favola, presente nella letteratura classica greca e latina, ma di origine ancora più antica.

Per favola si intende un preciso genere letterario: una storia molto breve che ha come protagonisti gli animali e viene narrata a scopo pedagogico o morale per illustrare un vizio o un comportamento tipico della specie umana. In genere la favola è priva di intreccio e si risolve con un motto o una massima, in cui si riassume il suo significato, e si colgono con arguzia i difetti della società.

Assai difficile, e forse anche vano, è il tentativo di individuarne l'area d'origine: alcuni critici hanno pensato all'India, altri all'Asia Minore. In realtà è possibile che si siano verificati molteplici scambi tra una zona e l'altra: ad esempio, le favole che hanno per protagonisti coccodrilli, scarabei, o gatti possono verosimilmente essere egiziane, mentre la presenza del leone è indizio di una loro probabile origine asiatica¹.

Il genere letterario della favola in Grecia fu coltivato a partire dalla figura semileggendaria di Esopo (VI secolo a.C), attorno al cui nome si sono raccolti diversi miti. Il corpus esopico a noi pervenuto comprende circa quattrocento favole ed è frutto di una serie di stratificazioni successive, ossia interventi in età ellenistica e bizantina che riguardano sia la lingua che il contenuto. Tra le più famose ci sono sicuramente *La volpe e l'uva*, *Il lupo e l'agnello*, *La cicala e le formiche* e *L'usignolo e lo sparviero*.

A Roma invece la favola penetrò relativamente tardi. Il primo e più importante favolista romano fu Fedro, vissuto alla fine del I secolo a.C, arrivato dalla

1. G. Guidorizzi, *Il mondo letterario greco*, Einaudi scuola, Milano, 2007

Tracia come prigioniero di guerra e diventato poi liberto della famiglia di Augusto. Fedro, per sua stessa ammissione, aveva come modello il greco Esopo e si proponeva di divertire il pubblico dando allo stesso tempo consigli utili. Nella civiltà latina la favola si fece portavoce di un sistema di valori popolari: in contrapposizione con la morale aristocratica e con il sistema dei valori della nobiltà, essa rivela un atteggiamento “plebeo”, non solo perché le storie sono umili e quotidiane, ma anche perché esprime un insieme di valori subalterni, come la cautela, la prudenza davanti al pericolo, la necessità di adattarsi alla vita e alle situazioni concrete, le supremazia del più forte sul più debole².

Solitamente ad ogni animale sono collegati un comportamento, un difetto o una caratteristica degli uomini: la volpe ad esempio è il simbolo della furberia e dell’astuzia, la formica della laboriosità e della parsimonia, il lupo della malvagità e della violenza, l’agnello dell’innocenza e della bontà, la cicala della pigrizia e della spensieratezza. Fedro però introdusse nel suo *corpus* nuovi personaggi, specialmente umani. E così si possono incontrare pescatori, contadini, vasai, marinai, schiavi: tipi umani per lo più appartenenti agli strati umili della società, che agiscono in situazioni tratte dalla vita quotidiana.

La tradizione favolistica classica venne ereditata dalla cultura medievale tramite due vie ben distinte tra loro: *in primis* c’era la silloge intitolata *Romulus* (IX secolo), all’interno della quale si trovavano per lo più racconti di Fedro (su 85 circa 50 erano suoi), attribuiti erroneamente all’autore latino Romolo, da cui prese nome l’opera (Fedro infatti venne riscoperto solo nel XVI secolo). E in secondo luogo, circolavano le favole in lingua greca di Babrio, diffuse tramite la traduzione latina di Flavio Aviano³.

Fu grazie a queste due fonti che nel corso del Medioevo si verificarono molteplici volgarizzazioni delle favole di Esopo (di quelle di Fedro appunto solo a partire dal 1500), la più rinomata delle quali è sicuramente quella ad opera di Gualtiero Anglico (XII secolo), autore di un adattamento del corpus esopico in distici elegiaci, il *Liber Aesopi*. Altrettanto famosa è anche la volgarizzazione compiuta da Maria di Francia, celebre poetessa medievale della seconda metà del XII secolo, la cui vera identità però resta tutt’ora un mistero. Nel corso del tardo Medioevo invece si diffuse il famoso ciclo francese intitolato *Roman de Renard*: un insieme eterogeneo di racconti scritti tra il XII e il XIII secolo, i cui autori sono rimasti sconosciuti.

La Francia continuò a mantenere una posizione di rilievo nel genere della favola

2. E. Cantarella, G. Guidorizzi, *Antologia Latina*, Einaudi scuola, Milano, 2006

3. A. Neckman, *Novus Aesopus*, in *Favolisti latini medievali* vol.2, Genova: Dipartimento di archeologia, filologia classica e loro tradizioni, 1987

durante il corso del 1600 grazie a Jean de La Fontaine, che riscrivendo testi già conosciuti nel mondo della letteratura diede vita a dei capolavori veri e propri. Egli fu in grado di rendere le sue storie di animali un efficace mezzo satirico nei confronti della corte, della nobiltà, della borghesia e della Chiesa.

Anche se nel XVI e nel XVII secolo la favola rimase sempre attiva nel panorama della cultura europea, fu nel 1700 che si verificò la riscoperta di questo genere, grazie agli Illuministi che ne amavano la linearità e la razionalità. Non soltanto nel cuore dell'Europa si ebbe un fiorire in questo ambito, ma anche in Russia, grazie al grande Ivan Andreevič Krylov (1769-1844).

Costui, dopo aver tentato il successo come giornalista e drammaturgo, diventò il favolista russo più famoso. Iniziò traducendo dal francese delle favole di La Fontaine e continuò poi scrivendone di originali. Le sue storie erano ricche di riferimenti politici ed erano caratterizzate da un deciso intento satirico: per questo ebbe talvolta a che fare con la censura governativa, che bloccò la pubblicazione di alcuni suoi racconti. La prima raccolta, uscita nel 1809, ebbe un successo straordinario, e nei successivi dieci anni ne seguirono altre otto. La bravura dello scrittore fu quella di conferire alla produzione un'originale impronta nazionale, un'aderenza alla realtà e alla vita di tutti i giorni tale che le sue opere divennero patrimonio della saggezza del popolo russo, avendo attinto parole e modi direttamente da quest'ultimo. Usò infatti la lingua viva e corrente dei russi, riuscendo a conferire dignità artistica a locuzioni idiomatiche che da allora in poi sono entrate a far parte del patrimonio letterario del paese⁴. Quand'era ancora in vita Krylov vide tradotte le sue favole in molte lingue: in Italia Vincenzo Monti nel 1824 si occupò di *Мешок* (*Il sacco*, 1809), *Волк и Кукушка* (*Il lupo e il cuculo*, 1813), e *Осёл и Мужик* (*Il villano e l'asino*, 1819).

Anche nella seconda metà del XIX secolo la Russia ebbe il suo favolista: Lev Tolstoj. Conosciuto come l'autore dei più bei romanzi della letteratura russa, egli fu anche un eccezionale educatore, convinto che nelle moderne società sopraffatte dalla violenza e dall'egoismo non ci fosse spazio per l'amore e la fratellanza umana, a cui invece egli si ispirò per comporre le sue opere. Nel 1859 aprì per i figli dei contadini una scuola a Jasnaja Poljana, dove si dimostrò un maestro straordinario, amato dai suoi discepoli. Basò l'educazione degli alunni sul principio rivoluzionario che al fanciullo, puro di natura, "va lasciata la libertà di esprimere la ricchezza del suo mondo interiore, dove trovano posto il vero, il buono, il bello"⁵. Fu allora che constatò che fra tanti libri dedicati

4. A. Krylov, *Raccolta di favole*, Sansoni, Firenze, 1957

5. Lev Tolstoj, *I quattro libri di lettura*, La Nuova Italia, Firenze, 1967

ai giovani quasi nessuno veniva da loro veramente apprezzato, poiché erano testi convenzionali e lontani dal loro modo di sentire e pensare: da qui gli venne l'idea di una raccolta di favole intitolata *I quattro libri di lettura* (1875), che faceva originariamente parte dell'*Abecedario del conte Lev Tolstoj* (1872). Aveva indagato i gusti e gli interessi dei bambini campagnoli, ed era andato loro incontro, scrivendo componimenti brevi, semplici, diretti e divertenti, il cui materiale fu raccolto da fonti tra le più disparate: da Esopo, ai Fratelli Grimm, a Victor Hugo, a racconti popolari anonimi.

Con l'arrivo del XX secolo la tradizione della favola non si fermò, ma anzi continuò più rigogliosa che mai: in Italia Pietro Pancrazi pubblicò la raccolta *L'Esopo Moderno* (1930), lo scrittore romano Trilussa si impegnò a comporre nel suo dialetto, e lo stesso fece il calabrese Vittorio Butera. In Russia Kornej Čukovskij scrisse delle favole ancor prima della Rivoluzione d'Ottobre (la prima fu *Krokodil, Il Coccodrillo*, 1916), che furono però viste come satire anti-comuniste nel corso degli anni '30, e per questo non soggette alla distribuzione e alla commercializzazione nelle librerie fino ai primi anni '80. L'Inghilterra vide l'uscita del grande capolavoro di George Orwell *Animal Farm (La fattoria degli animali)*, 1945) mentre in Francia Jean Anouilh diede alla luce *Fables (Fiabe)*, 1962).

Nel momento in cui Kuprin scrisse i suoi componimenti a tema zoologico, la tradizione della favola era dunque perfettamente attiva: come Tolstoj, anche lui amava la purezza e l'innocenza dei bambini, la spontaneità e l'intelligenza delle bestie, e comporre delle opere in cui gli animali fossero i protagonisti lo aiutava sia a fare un gesto d'amore nei confronti dei lettori più giovani, a cui indirizzava i racconti, sia a ritornare con la memoria in Russia, alla vita semplice che aveva avuto modo di gustarsi prima della migrazione, e nella quale avrebbe voluto immergersi nuovamente prima della fine dei suoi giorni.

4.2 L'adattamento della favola in Kuprin

Le storie di animali di Aleksandr Ivanovič non sono delle favole vere e proprie: queste infatti devono rispettare delle regole stilistiche ben precise, che sono rimaste invariate nel corso dei secoli.

In primo luogo si narra un singolo avvenimento in maniera semplice e concisa, e la struttura del racconto è fissa: dopo una breve introduzione sui protagonisti e sulla situazione iniziale, nella quale solitamente ci troviamo in una circostanza difficile o di fronte a un pericolo, c'è il corpo centrale, dove viene descritto brevemente il susseguirsi degli avvenimenti. Successivamente si trova sempre la conclusione, ossia la morale, un commento che trasmette al lettore un insegnamento utile per la vita di tutti i giorni.

Scritta in prosa o in versi, la favola mette in scena pochi personaggi, che come abbiamo già avuto modo di vedere sono per lo più animali umanizzati. Non ci sono specifiche indicazioni di tempo e spazio: espressioni come “una volta”, “un tempo”, “un giorno”, “in una foresta”, “in un ruscello”, “in una stalla”, etc. non determinano con precisione dove e quando è avvenuto l'episodio che viene narrato.

Lo stile è asciutto e diretto, il linguaggio semplice e quotidiano. I tempi verbali scelti non esprimono indeterminatezza, ma sempre certezza, per questo si fa grande uso del modo indicativo. I dialoghi sono frequenti, e si incontrano diversi aggettivi qualificativi, spesso in contrasto tra loro, per descrivere i protagonisti delle favole in antitesi l'uno con l'altro: basti pensare al mite agnello con il prepotente lupo, e alla laboriosa formica con la pigra cicala. Queste caratteristiche non le troviamo mai tutte assieme in un unico racconto di Kuprin, ciascuno infatti presenta solamente alcuni dei precedenti tratti riconducibili alla tradizione della favola; l'unico elemento che non manca mai è il ruolo da protagonista affidato ad un animale. Inoltre, mentre le favole della tradizione classica sono brevi, a volte brevissime, i racconti di Kuprin si sviluppano su diverse pagine.

In *Balto* l'eroe è l'omonimo cane che salva la città di Nome: alla fine del racconto troviamo un chiaro messaggio di tipo educativo, nel quale si confrontano la semplicità d'animo e l'umiltà degli animali con le manie di grandezza dell'uomo e il suo egoismo. Kuprin termina la storia in maniera semplice, concisa e allo stesso tempo significativa: “Мне Балтъ милее.”⁶

Il tempo della narrazione non è precisato, poiché nonostante si parli di uno o due anni fa, “Год, может быть, два назад” non viene specificato a quale data far riferimento. La narrazione è lineare, e viene usato sempre il passato, ad eccezione dei dialoghi in cui si trova il presente: è comunque il modo indicativo a dominare.

Di nuovo un cane, questa volta di nome *Ral'f*, è il protagonista di un altro racconto di Aleksandr Ivanovič. Anche lui, come Balto, è estremamente intelligente, e viene descritto con tratti e comportamenti tipici dell'uomo. L'umanizzazione degli animali fece parte fin dall'inizio della tradizione della favola, e la troviamo spesso in Kuprin. Ral'f infatti sarebbe stato in grado di contare, riconoscere parecchi colori e andare a fare la spesa nelle botteghe della città. Nel racconto si fa addirittura riferimento alle leggi che i cani rispettano l'uno nei confronti dell'altro, tra queste: “Quando un uomo lavora assieme a te, ritienilo un onore e aiutalo tanto quanto le tue forze te lo permettono, e non

6. “Io preferisco Balto”

disturbare mai un cane all'opera".

In *Ral'f* vi sono dei dialoghi, e alcuni avvengono proprio tra il cane e il suo padrone: Kuprin non fa parlare l'animale in maniera diretta, come avevano fatto in origine Esopo e Fedro, ma lo rende in grado di comunicare con gli occhi, con i diversi movimenti della coda e di tutto il corpo. Incredibilmente acuto e perspicace risulta anche il gatto Yu-yu, che dà nome ad un altro racconto. In *Yu-yu* lo scrittore utilizza la trovata narrativa della storia dentro la storia: la nonna recita alla nipotina Nika le avventure del felino, e queste vanno a costituire gli avvenimenti veri e propri della narrazione.

Ancora una volta non ci sono riferimenti temporali, e a differenza dei precedenti racconti, qui manca anche un minimo riferimento spaziale. È interessante leggere in *Yu-yu* l'opinione di Kuprin, espressa tramite le parole della nonna, riguardo diversi animali, che accompagna la critica contro i pregiudizi che gli uomini hanno nei loro confronti. Per primo Aleksandr Ivanovič difende l'asino, da sempre considerato testardo e cocciuto: si tratta invece di una creatura "ubbidiente, cordiale e a cui piace far fatica"⁷. Anche l'oca, sinonimo di stupidità, è invece dotata di incredibile acume: "Non c'è uccello più intelligente sulla terra. L'oca riconosce i padroni dall'andatura."

Che dire poi dei maiali, erroneamente considerati le creature più sporche di tutte? Spesso la colpa sta proprio nell'incapacità dell'uomo di capire gli animali: si pensi al cavallo, accusato di essere iroso e ribelle, e tale in realtà solo per la disattenzione del padrone, che non pensa ad abbeverarlo e a farlo riposare ogni tanto, ma solo a cavalcarlo, domarlo, e farsi bello in groppa sua.

In questo Kuprin si distanzia dalla tradizione classica della favola: non sembrano esserci specie "positive", come la formica, il topo, l'agnello, e specie "negative", come la volpe, il lupo, la cicala: nei suoi racconti ogni animale ha qualcosa da insegnare all'uomo, avendo mantenuto la purezza interiore, corrotta invece negli adulti dalla società moderna.

Yu-yu infine è ricchissimo di dialoghi, e il linguaggio utilizzato è quello della quotidianità, con espressioni semplici e termini colloquiali.

Pesik, Nasino nero rappresenta invece un'eccezione: i protagonisti del racconto sono Raja, una bambina in grado di comunicare con gli animali e di stare in sintonia con loro, e un cucciolo trovato, che lei stessa porta a casa e a cui dà il nome di Pesik, Nasino nero. Quest'ultimo però non incarna l'ideale di amico dell'uomo a quattro zampe, tutt'altro: è un cane iroso, violento e vigliacco, a cui piace uccidere le galline nel pollaio, rovistare nelle immondizie, rubare il cibo agli operai e abbaiare inutilmente in modo terribile. È scortese anche con

7. Dal racconto *IO-ro*, pp. (la aggiungo quando avrò fatto l'impaginazione)

Raja, a cui ubbidisce solo per la ricompensa che gli spetta in caso di buona condotta.

La negatività di questo racconto, composto e pubblicato nel 1921, che termina con l'uccisione di Pesik da parte del fratello della padroncina, è riconducibile alla crisi che l'autore stava attraversando in quel periodo: dopo lo scoppio della Guerra Civile Kuprin aveva passato dei brutti momenti lontano dalla sua famiglia, nella piena consapevolezza che l'unica soluzione possibile per lui e i suoi cari sarebbe stata quella di abbandonare la Russia una volta per tutte. L'arrivo nel 1920 a Parigi era stato così doloroso, che le opere scritte subito dopo questa data portano i segni della sua tristezza, e questo è proprio il caso di *Pesik, Nasino nero*.

Dal punto di vista della composizione comunque anche questa storia rispetta i canoni della fiaba: dalla semplicità stilistica al linguaggio della quotidianità, dalla centralità della figura dell'animale all'assenza di un'indicazione temporale.

4.3 L'influenza delle memorie di caccia di Turgenev

Zavirajka, Una notte del bosco e Le Beccacce sono racconti interamente incentrati sul tema della caccia, che costituiva una delle più grandi passioni di Kuprin. Il contatto con la natura durante questa attività è strettissimo: dormendo all'aria aperta, camminando per ore e ore attraverso i boschi e le radure e nascondendosi tra i cespugli si imparano a conoscere non solo gli animali con la loro indole e il loro comportamento, ma anche tutte le caratteristiche fisiche di alberi, piante, e fiori.

Il padre dei racconti di caccia nella letteratura russa è sicuramente Ivan Turgenev, che negli anni '40 scrisse la maggior parte delle 25 storie che vennero successivamente pubblicate all'interno della raccolta *Записки охотника (Memorie di un cacciatore, 1852)*.

Nonostante l'opera racchiudesse in sé una forte condanna nei confronti del sistema della servitù della gleba e della dura vita dei contadini, fin da subito fu impossibile non esaltarne anche "la grande forza estetica"⁸. Turgenev voleva dipingere il paesaggio russo, il bosco e la steppa, e giungere in questo modo a trattare i grandi temi della vita e della morte, del destino, della fede e

8. Dall'introduzione di Eridano Bazzarelli in Ivan Turgenev, *Memorie di un cacciatore*, Rizzoli, 1991

dell'umanità. Si respira infatti una grande armonia ed un perfetto equilibrio nelle descrizioni dei paesaggi, e si percepisce come la realtà della natura sia intersecata con l'esistenza dell'uomo. Kuprin sembra proprio seguire l'esempio di Turgenev, e quando in *Una notte nel bosco* il cacciatore San Vanyč alla sera resta finalmente da solo e si distende sulla terra nuda per riposare, inizia tra sé e sé ad esaltare Madre Natura, che nutre con la sua linfa tutte le piante e gli esseri viventi, ed il Creatore, che ogni organismo della Terra ringrazia.

Lo stile di Turgenev prevedeva l'ampio uso di elenchi di flora e fauna, di odori, di elementi atmosferici e di sensazioni: questo dà l'impressione che tutto il mondo del poeta sia unificato e unico, "come mosso da un unico battito della vita"⁹. Anche Kuprin ricorse spesso alla tecnica dell'elencazione, e non soltanto nella descrizione dei paesaggi naturali; si legge ad esempio in *Zavirajka*, mentre si parla della bravura del cacciatore Trusov: "aveva ucciso nella sua vita sessantaquattro orsi, decine di linci e alci, centinaia di lupi e volpi e migliaia di lepri". Oppure nell'esaltazione del cane John in *Le Beccacce*: "Fiuta, dio sa da quale distanza, le quaglie, le beccacce, i croccoloni, gli urogalli, i galli cedroni."

La natura, tanto in Turgenev quanto in Kuprin, non è mai nemica dell'uomo: essa assiste nella sua saggezza misteriosa e infinita nelle storie degli uomini, ed entrambi gli scrittori la trasmettono al pubblico dei lettori.

Nelle *Memorie di un cacciatore* vengono messi in scena personaggi di estrazione sociale bassa, piccoli proprietari terrieri, la cui vita era fatta di umiliazioni e prepotenze, e contadini disumanamente sfruttati dai loro padroni. La miseria di questi ultimi è rappresentata in maniera evidente nella descrizione della desolazione delle loro case, del processo di impoverimento delle campagne, e dai vari problemi che andavano a gravare continuamente sulla loro vita. Tutto ciò d'altronde non permise alle *Memorie* di essere pubblicate a Pietroburgo: il libro uscì a Mosca, grazie ad un funzionario più liberale, che, per questo, perse il posto, ed ebbe un enorme successo.

"By the 1870s, [...] A Sportsman's Sketches had assumed its place in Russian literature as a Herodotean excursion into a human reality so rich that the inexplicability of its teeming life becomes a marker of its genre. [...] Dostoevskij was certainly thinking of this book when he published his own "sketches" (zapiski) of prison life with its mix of documentary and fiction."¹⁰

9. Ivan Turgenev, *Memorie di un cacciatore*, Rizzoli, 1991

10. D. Tussing Orwin, *Consequences of Consciousness: Turgenev, Dostoyevsky and Tolstoj*, Stanford University Press, California, 2007

Anche i racconti di Kuprin mettono in scena personaggi molto semplici: oltre ai cacciatori, troviamo minatori, guardie forestali, impiegati delle poste e famiglie che vivevano immerse nel pieno del bosco. Si veda per esempio la povera vedova che in *Zavirajka* conduceva la sua esistenza ricordando continuamente il marito, e svolgendo tutte le attività necessarie a mandare avanti una tenuta nel bel mezzo della foresta. Non c'è però traccia di critica sociale nelle pagine di Kuprin: per lo scrittore i racconti erano un mezzo per esaltare la bellezza della sua terra, il fascino della foresta, la sconfinata grandezza del territorio russo: si legge dunque tra le righe di *Zavirajka*, *Una notte del bosco* e *Le Beccacce* l'amore patriottico di Aleksandr Ivanovič, diventato ancor più forte dal momento in cui abbandonò il suo paese per emigrare a Parigi.

La tradizione dei racconti di caccia si intreccia qui con quella della favola: il ruolo del cane prevale talvolta su quello del padrone, il predatore, e tra uomo e animale si crea una sintonia meravigliosa, fatta di sensazioni e sguardi, attraverso cui pare si possa comunicare meglio che tramite le parole.

Inoltre, l'aderenza al realismo nelle storie prese in analisi è davvero elevata, ed è forse questo l'aspetto stilisticamente più affascinante. La volontà di trattare la realtà intesa come quotidianità e il rifiuto ad astrarre da ciò che viviamo ogni giorno avvicina Kuprin ai grandi romanzieri del XIX secolo, come Dostoevskij, Čechov, Gor'kij e molti altri, e lo allontana invece dalla corrente modernista, che nel corso del XX secolo aveva conquistato molti scrittori.

Egli non era interessato a nuove forme di espressione, come le allusioni e i simboli, tramite cui le emergenti ideologie artistiche ritenevano di poter cogliere appieno la realtà e la verità: no, Aleksandr era attaccato alla tradizione anche in ambito artistico, e prediligeva i generi letterari classici. Continuò dunque ad essere coerente con la sua poetica d'origine anche quando emigrò in Francia, lontano della sua Russia.

4.4 La tradizione del racconto breve nella letteratura russa

Nel corso del XIX secolo alcuni illustri protagonisti della letteratura russa si specializzarono nella tradizione del racconto breve; tra di loro ci sono Puškin, Gogol', Turgenev, Dostoevskij, Leskov, Korolenko e naturalmente Čechov, che con le sue *povesti* inaugurò anche una nuova fase realista ("The Chekhovian

Trend”¹¹) in seguito abbracciata da molti scrittori del XX secolo, tra cui Ivan Bunin, Boris Zajcev, Leonid Andreev e il “nostro” Aleksandr Kuprin.

La caratteristica principale del racconto breve non è la sua limitata estensione, come siamo erroneamente indotti a pensare¹², quanto piuttosto la sua struttura, che segue uno schema alquanto rigido¹³:

1. General Prologue
2. Special Prologue
3. Complication
4. Peripeteia
5. Dénouement
6. Special Epilogue
7. General Epilogue

Nel prologo, dopo aver presentato la situazione in maniera generale, descrivendo l’ambientazione del racconto e il passato del protagonista (1-General Prologue), si passa all’analisi della normalità, delle abitudini, e del tranquillo equilibrio della vita dell’eroe (2-Special Prologue). Si insinuano poi delle circostanze complicate (3-Complication) che raggiungono un alto livello di tensione narrativa (4-Peripetia). La fase successiva prevede la risoluzione del problema (5-Dénouement) e via via l’assestamento di un nuovo equilibrio (6-Special Epilogue, 7-General Epilogue).

Se prendiamo come esempio il capolavoro di Gogol’ *Šinel’* (*Il cappotto*, 1842), vediamo che segue perfettamente la scaletta presentata sopra: prima viene descritta San Pietroburgo, il passato di Akakij Akakievič (1) e la sua quotidianità immobile, caratterizzata dal lavoro di funzionario statale, che svolge con massima serietà e diligenza (2). Il suo cappotto però, indispensabile per

11. Marc Slonim, *Modern Russian Literature (From Chekhov to the present)*, Oxford University Press, New York, 1953

12. Il fatto che il racconto breve sia più corto del romanzo resta comunque una caratteristica basilare di questo genere. Scrive Helmut Bonheim in *Narrative Modes, Techniques of the Short Story*, D.S. Brewer, Cambridge, 1982, pp. 166: “A short story is a complete narrative normally too short to be published by itself”.

13. L. Michael O’Toole, *Structure, Style and Interpretation in the Russian Short Story*, Yale University, New Haven 1982, pp. 20

fronteggiare i freddissimi inverni Pietroburghesi, non riesce più a tenergli caldo, e sembra cadere a pezzi da un momento all'altro (3). Decide dunque di iniziare a risparmiare per comprarsene uno nuovo, ma è proprio quando riesce finalmente ad acquistarlo che glielo rubano (4). Il povero Akakij Akakievič muore così di freddo (5), ma il suo fantasma si prende la rivincita su colui che gli aveva negato giustizia per il cappotto perduto e continua a vagare per le strade della città.

Anche *Zavirajka* di Kuprin procede secondo questo schema: durante una serena e proficua battuta di caccia avviene lo smarrimento di un cane, finito accidentalmente in una trappola per lepri. Il cucciolo viene però ritrovato proprio dal segugio *Zavirajka*, che dimostra una grande "umanità" nell'essere riuscito a salvare un suo simile dopo aver convinto i padroni a seguirlo nel fitto del bosco.

Questa struttura narrativa altalenante "rise-and-fall or tension-and-release"¹⁴ è una metafora della vita stessa e il lettore che la sperimenta ne trae beneficio, poiché tramite l'arte dissolve le sue tensioni interne. Il metodo narrativo costituisce un fattore altrettanto importante per le short-stories, ma non richiede un modello preciso da seguire. È per questo che possiamo imbatterci tanto in una storia scritta in prima persona, dove il protagonista degli eventi è anche colui che li presenta, quanto in una scritta in terza persona, dove un narratore a volte partecipa, a volte estraneo agli eventi, li descrive.

Nel primo caso il maestro indiscusso è Dostoevskij, che riesce a creare una rete fittissima di punti di vista e un'analisi psicologica dei protagonisti delle sue opere, come in *Кроткая* (*La mite*, 1876): tutto ciò era alquanto insolito per la prosa del XIX secolo, e Dostoevskij stesso fu il predecessore di molte tecniche d'avanguardia sviluppatesi nel 1900, tra cui il monologo interiore.

La narrazione in terza persona invece può essere fatta dalla voce di un personaggio interno all'opera, da quella di una figura la cui prima funzione è proprio raccontare i fatti, come in *Выстрел* (*Il colpo di pistola*, 1831) di Puškin, o da qualcuno di completamente estraneo al corso dei avvenimenti, il cosiddetto narratore onnisciente. Ci sono poi dei casi di sovrapposizione di narrazione, come accade in *Отец Сергий* (*Padre Sergej*, 1890-98) di Tolstoj: qui addirittura è l'autore stesso ad intervenire nel bel mezzo dell'opera.

Anche per quanto riguarda la coincidenza tra *fabula* e intreccio (*sjužet*) il racconto breve russo presenta rilevanti variazioni. La struttura narrativa rigida infatti non esclude l'utilizzo di tecniche stilistiche che sconvolgono la succes-

14. L. Michael O'Toole, *Structure, Style and Interpretation in the Russian Short Story*, pp. 11

sione temporale logica degli avvenimenti, e talvolta gli autori ne fanno ampio uso: è il caso di *Станционный смотритель* (*Il Mastro di posta*, 1831) di Puškin, in cui l'autore ricorre al flashback. Il racconto breve, a differenza del romanzo, non mette in scena molti personaggi, e generalmente anche il numero degli avvenimenti è limitato, così come la loro complessità. Tutto infatti, come abbiamo già avuto modo di dire, gira attorno ad un episodio significativo. Gli eroi sono sempre verosimili, molto "convincenti", in modo che il lettore possa immedesimarsi nelle loro vite e vicissitudini; per questo motivo provengono da ambienti e classi sociali modeste.

Nel panorama letterario del 1800 i più grandi scrittori di *povesti* erano *in primis* conosciuti per i loro *romany* ed erano protagonisti della fiorente stagione del Grande Romanzo russo. Puškin, Tolstoj, Gogol' e Dostoevskij composero delle opere che sono considerate capisaldi della produzione letteraria del loro paese: dall'*Evgenij Onegin* a *Kapitanskaja dočka* (*La figlia del Capitano*, da *Vojna i mir* (*Guerra e Pace*) ad *Anna Karenina*, da *Mërtvye duši* (*Le Anime Morte*) a *Prestuplénie i nakazànie* (*Delitto e Castigo*).

Eppure i racconti brevi che scrissero non costituiscono una pagina meno significativa per la tradizione letteraria russa. Puškin ad esempio pubblicò l'opera *Povesti pokojnogo Ivana Petrovica Belkina* (*Le novelle del compianto Ivan Petrovič Belkin*, 1831) dove sono raccolte cinque storie considerate parte imprescindibile della cultura letteraria russa: *Grabovščik* (*Il fabbricante di bare*), *Stancionnij smotritel'* (*Il mastro di posta*), *Baryšnja-krest'janka* (*La contadina padrona*), *Vystrel* (*Lo sparo*), *Metel'* (*La tormentata*). Ugualmente importanti sono i *Peterburgskie rasskazy* (*I racconti di Pietroburgo*, 1842), che influirono enormemente non solo sul corso della storia della letteratura, ma anche su tutti gli scrittori che seguirono Gogol'. Si tratta della raccolta che comprende i celeberrimi *Nevskij prospekt*, (*La prospettiva Nevskij*, 1835), *Nos* (*Il naso*, 1836), *Portret* (*Il ritratto*, 1835), *Šinel'* (*Il cappotto*, 1842) e *Zapiski sumasšedšego* (*Le memorie di un pazzo*, 1835).

Dostoevskij, la cui fama internazionale non richiede di nominare i romanzi più conosciuti (lo stesso varrà per Tolstoj), è l'autore di straordinari racconti come *Gospodin Procharč'in* (*Il signor Procharč'in*, 1846), *Krokodil* (*Il coccodrillo*, 1865), *Krotkaja* (*La mite*, 1876), *Son smešnogo čeloveka* (*Il sogno di un uomo ridicolo*, 1877), etc.

Tolstoj invece compose *Sevastopol'skie passkazy* (*Racconti di Sebastopoli*, 1855-56), *Dva gusara* (*I due ussari*, 1856), *Kavkazskij plennik* (*Il prigioniero del Caucaso*, 1872), *Čem ljudi živy* (*Cosa fa vivere gli uomini*, 1882), *Smert' Ivana Il'iča* (*La morte di Ivan Il'ič*, 1886), *Chozjain i rabotnik* (*Il padrone e il lavorante*, 1895), *Otec Sergij* (*Padre Sergio*, 1898), *D'javol* (*Il Diavolo*, 1911) e molti altri.

Leskov, ingiustamente meno celebre, si specializzò con i suoi racconti nel genere dello skaz, dove il narratore è compreso tra i protagonisti della storia, spesso come eroe principale¹⁵ (narrazione in prima persona). La *povest' Očarovannyj strannik* (*Il viaggiatore incantato*, 1873) che è il suo racconto più conosciuto, è anche l'esempio migliore di tecnica dello skaz: l'autore mette in mostra le sue abilità di story-teller, e la maestria nella cura del linguaggio, che assume un ruolo importantissimo nell'opera. Leskov inoltre amava mettere in scena uomini provenienti da tutte le classi sociali, in particolare da quelle più basse. Ma non si può parlare di racconto breve russo senza nominare Čechov, che tra i grandi autori del XIX secolo è praticamente l'unico, a non essere conosciuto in primo luogo come romanziere. Suoi sono *Chamaleon* (*Il camaleonte*, 1884), *Griša* (1886), *Na puti* (*In viaggio*, 1886), *Step'* (*La steppa*, 1888), *Krasavicy* (*Beltà femminili*, 1888), *Skučnaja istorija* (*Una storia noiosa*, 1889), *Skripka Rotšil'da* (*Il violino di Rothschild*, 1894), *Dama s sobačkoj* (*La signora con il cagnolino*, 1898), *Čelovek v futljare* (*L'uomo nell'astuccio*, 1898), *O ljubvi* (*Sull'amore*, 1898) e molti altri.

Egli ispirò e ricevette l'ammirazione di scrittori come Ernest Hemingway e Virginia Woolf, ma in patria oscurò con la sua fama quella di grandi nomi come Korolenko, Garšin e il già citato Leskov.

Korolenko, giornalista populista attivo nel panorama politico russo durante gli anni che precedettero e seguirono la Rivoluzione, diventò famoso grazie a *Son Makara* (*Il sogno di Makar*, 1885), che compose una volta tornato dall'esilio in Siberia. Molto successo ebbero *V durnom obščestve* (*In cattiva compagnia*, 1885), *Bez Jazyka* (*Senza lingua*, 1893) e *Slepoj muzykant* (*Il musicista cieco*, 1886).

Infine c'è Garšin a rappresentare la stagione di fioritura del racconto russo. Egli si fece conoscere con *Četyre dnja* (*Quattro giorni*, 1877), opera basata sulle sue esperienze di soldato e su fatti realmente accaduti: queste pagine, come quelle di tutta la sua produzione artistica, sono caratterizzate da un pathos molto acuto e da una forte sensibilità morale, e questo ha permesso di paragonarlo a Dostoevskij. Cultore del genere della favola, ha scritto *Attalea princeps* (1880) e *To, čego ne bylo* (*Che cosa è, che cosa non è stato*, 1882), ma più noto tra tutti è sicuramente il racconto *Krasnij cvetok* (*Il fiore rosso*, 1883), specchio della sua malattia mentale che lo portò a suicidarsi a soli 33 anni.

Kuprin dunque si inserisce all'interno di una tradizione avviata nel secolo precedente da figure centrali del panorama culturale russo, ed eredita sia le tecniche

15. E. Lo Gatto, *Storia della letteratura russa*, Sansoni, Firenze, 1979

di composizione del genere del racconto breve, sia la grande passione per il realismo.

Bibliografija

- [1] Nicholas J.L. Luker, *Aleksandr Kuprin*, G. K. Hall & Co., Boston, 1978
- [2] A. N. Afanas'ev, *Aleksandr Ivanovič Kuprin : Kritikobiografičeskij očerk*, Chudožesvennaja Literatura, Mosca, 1972
- [3] Aleksandr Dymnik, *A. I. Kuprin : Očerk žizni i Tvorčestva*, East Lansing : Russian Language Journal, East Lansing, 1969
- [4] F. I. Kulešov, *Tvorčeskij put' A. I. Kuprina 1907-1938*, Minsk izdatel'stvo universitetskoe, Minsk, 1987
- [5] L. Nikulin, *Čechov, Bunin, Kuprin*, Sovetskij pisatel', Mosca, 1960
- [6] A. A. Volkov, *Tvorčestvo Kuprina*, Sovetskij pisatel', Mosca, 1962
- [7] B. M. Kiselev, *Rasskazy o Kuprine*, Sovetskij pisatel', Mosca, 1964
- [8] N. K. Veržbickij, *Vstreči s A. I. Kuprinym*, Penzenskoe knižnoe izdatel'stvo, Penza, 1961
- [9] O. Michajlov, *Kuprin*, Molodaja gvardija, Mosca, 1981
- [10] S. Persky, *Contemporary Russian Novelists*, Frank Palmer Red Lion Court, Londra, 1914
- [11] A. I. Kuprin, *Golos ottuda 1919-1934*, Soglasie, Mosca, 1999
- [12] A. I. Kuprin, *Zabytye i nesobrannnye proizvedenija*, Penzenskoe oblastnoe izdatel'stvo, Penza, 1950
- [13] C. Ledré, *Trois romancieres russes*, Nouvelles editions latines, Paris, 1935
- [14] K. A. Kuprina, *Kuprin – moj otec*, Chudožestvennaja literatura, Mosca, 1979
- [15] F. O' Connor, *The Lonely Voice, a study of the short story*, Macmillan & co LTD, Londra, 1963
- [16] A. I. Kuprin, *Chronika sobytij glazami belogo oficera, pisatelja, žurnalista*, Sobranie, Mosca, 2006

-
- [17] A. I. Kuprin, *Sobranie sočinenij v devjati tomach*, Pravda, Mosca, 1964
- [18] G. Guidorizzi, *Il mondo letterario greco*, Einaudi scuola, Milano, 2007
- [19] E. Cantarella, G. Guidorizzi, *Antologia Latina*, Einaudi scuola, Milano, 2006
- [20] G. Garbugino, *Favolisti latini medievali*, Genova: Dipartimento di archeologia, filologia classica e loro tradizioni, 1984 -1988
- [21] A. Krylov, *Raccolta di favole*, Sansoni, Firenze, 1957
- [22] Lev Tolstoj, *I quattro libri di lettura*, La Nuova Italia, Firenze, 1967
- [23] Ivan Turgenev, *Memorie di un cacciatore*, RCS Rizzoli Libri, Milano, 1991
- [24] D. Tussing Orwin, *Consequences of Consciousness: Turgenev, Dostoyevsky and Tolstoj*, Stanford University Press, California, 2007
- [25] Marc Slonim, *Modern Russian Literature (From Chekhov to the present)*, Oxford University Press, New York, 1953
- [26] L. Michael O'Toole, *Structure, Style and Interpretation in the Russian Short Story*, Yale University, New Haven, 1982
- [27] H. Bonheim, *Narrative Modes, Techniques of the Short Story*, D.S. Brewer, Cambridge, 1982
- [28] E. Lo Gatto, *Storia della letteratura russa*, Sansoni, Firenze, 1979

Sitografia

<http://kuprin.velchel.ru>

<https://fantlab.ru/>

<http://www.emigrantica.ru/>

<http://dugward.ru/library/sodlib.html>

<https://www.marxists.org/subject/art/literature/children/ref/index.htm>

<https://slovari.yandex.ru/>

<http://dic.academic.ru/>